

ISSN 0130-7675

НОВЫЙ МИР

НОВЫЙ МИР

9

1998

1998

НОВОСТИ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ И ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ

Издается с января 1925 г.

№ 9(881)

Сентябрь, 1998 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ВЛАДИМИР КОРНИЛОВ — Зачем единый утрачен смысл? Стихи	3
ИРИНА ПОВОЛОЦКАЯ — Сочельник. Скрипичный квартет	8
ВЯЧЕСЛАВ ПЬЕЦУХ — Жена Фараона, рассказы	24
ОЛЕСЯ НИКОЛАЕВА — Флейтистки бродят по оврагу, стихи	40
АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН — Угодило зёрнышко промеж двух жерновов. Очерки изгнания. Часть первая (1974 — 1978)	47

ИЗ НАСЛЕДИЯ

ЕЛИЗАВЕТА КУЗЬМИНА-КАРАВАЕВА — Тишина, огонь и слово. Публикация и предисловие Т. Емельяновой	126
--	-----

ПУБЛИЦИСТИКА

МАРК ФЕЙГИН — Закавказский узел	134
---------------------------------	-----

ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

«ЖМУ ВАШУ РУКУ, ДОРОГОЙ ТОВАРИЩ!». Переписка Максима Горького и Иосифа Сталина. Публикация, подготовка текста, комментарии Т. Дубинской-Джалиловой и А. Чернева	156
---	-----

ДАЛЕКОЕ БЛИЗКОЕ

АЛЛА МАРЧЕНКО — «С ней уходил я в море...». Анна Ахматова и Александр Блок: опыт расследования. Окончание	179
--	-----

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ВЛАДИМИР СЛАВЕЦКИЙ — Обратная перспектива. «Амелинский сезон» в поэзии конца века	197
--	-----

По ходу текста

НИКИТА ЕЛИСЕЕВ — Последняя черта	208
----------------------------------	-----

(См. на обороте)

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

РЕЦЕНЗИИ. ОБЗОРЫ

Павел Басинский. Люди лунного света	214
Алексей Козырев. Частная жизнь «взыскующих»	216
Елена Ознобкина. Библия для женщин?	223
С. Файбисович. Экстаз принадлежности как тип мышления	226
К. Белоцкий. Всплывающая Атлантида	229

Татьяна Касаткина. — I. С. И. Фудель. Наследство Достоевского. II. Сергей Земляной. Улыбающийся Иисус. Русская литература и новозаветное Благовестие. Статья первая	233
Г. Лятев. — Голос народа. Письма и отклики рядовых советских граждан о событиях 1918 — 1932 гг.	237

ЗАРУБЕЖНАЯ КНИГА О РОССИИ

ЕВГЕНИЙ ДОБРЕНКО — Ты записался добровольцем?	240
---	-----

БИБЛИОГРАФИЯ

Книжная полка (составитель Сергей Костырко)	243
Периодика (составитель Андрей Василевский)	245
SUMMARY	256

**ПОЗДРАВЛЯЕМ
ВЫДАЮЩЕГОСЯ КОМПОЗИТОРА СОВРЕМЕННОСТИ
АЛЬФРЕДА ШНИТКЕ
С ПРИСУЖДЕНИЕМ ЕМУ
БОЛЬШОГО РУССКОГО ПРИЗА «СЛАВА/CLORIA — 98»,
УЧРЕЖДЕННОГО АССОЦИАЦИЕЙ «РУССКАЯ
ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ ШКОЛА» И ОНЭКСИМБАНКОМ!**

**ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШЕГО АВТОРА
АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВИЧА МЕЖИРОВА
С 75-ЛЕТИЕМ!**

**ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШЕГО АВТОРА
ИНГУ ГРИГОРЬЕВНУ ПЕТКЕВИЧ
С ПРИСУЖДЕНИЕМ ЕЙ
ЛИТЕРАТУРНОЙ ПРЕМИИ «СЕВЕРНАЯ ПАЛЬМИРА»!**
Фрагменты премированной книги Инги Петкевич «Плач по крас-
ной суке» печатались в «Новом мире» (1994, № 6).

Из общего тиража каждого номера институт «Открытое общество» выкупает и безвозмездно направляет в библиотеки России и ряда стран СНГ 3331 экземпляр журнала «Новый мир».

АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН

*

УГОДИЛО ЗЁРНЫШКО ПРОМЕЖ ДВУХ ЖЕРНОВОВ

Очерки изгнания

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

(1974 — 1978)

Глава 1

БЕЗ ПРИКРЕПЫ

За несколько часов вихрем перенесенный из Лефортовской тюрьмы, вообще из Великой Советской Зоны — к сельскому домику Генриха Бёлля под Кёльном, в кольце плотной сотни корреспондентов, ждущих моих громовых заявлений, я им ответил неожиданно для самого себя: «Я достаточно говорил в Советском Союзе, а теперь помолчу».

Странно? Всю жизнь мучился, что не дают нам говорить, — вот наконец вырвался — теперь-то и грянуть? теперь-то и пальнуть по нашим тиранам?

Странно. Но с первых же часов — от неохватимой здешней лёгкости? — как замкнулось во мне что-то.

Едва войдя к Бёллю, я просил заказать разговор в Москву. Вот тут я думал: не соединят. А соединили! И отвечает — сама Аля! На месте! И я мог своим голосом заверить её, что — жив, что — долетел, вот, у Бёлля.

А вы? А — вы? (Ну — не растерзали же детей. Но — что там творится в квартире?)

Аля — ясным голосом отвечает. Через бытовые подробности даёт мне понять, что все свои дёма, что гебисты ушли, и — сказать нельзя, но умело намекает: квартира не тронута, вот, мол, дверь чинят. Так понять — что обыска не было?? Это меня поразило! Уж в обыске был уверен, и столько же тайного на столах — неужели не взяли?

Ещё до моего приезда звонила Бёллю Бетта (Лиза Маркштейн) из Вены, и адвокат Хееб из Цюриха, вылетают сюда. Позвонили и Никите Струве в Париж, готов лететь сюда и он. Сразу весь мой Опорный Треугольник, во жизнь! Но я почувствовал, что такой плотности мне не вместить, — и просил Струве лететь сутками позже прямо в Цюрих.

© А. Солженицын.

В журнале «Новый мир» (1991, № 6 — 8, 11 — 12), а затем отдельным изданием (М., «Согласие», 1996) была напечатана книга А. Солженицына «Бодался телёнок с дубом. Очерки литературной жизни». Ее непосредственным продолжением являются предлагаемые главы, написанные осенью 1978 года.

Напряжение, которое держало меня этот долгий день, теперь оборвалось, добрёл до отведенной комнаты и рухнул. А среди ночи проснулся. Дом Бёлля, выходящий прямо на улочку посёлка, был как в осаде: мелькали светá от автомобильных фар, подъездов, разворотов; у самого дома гудела корреспондентская толпа; при открытом, по европейскому теплу, окне слышна была немецкая речь, французская, английская. Они теснились и ждали утренней добычи новостей, какого-то же, наконец, моего заявления? Какого? — всё главное уже сказано из Москвы.

Ведь я и в Советском Союзе почти полную свободу слова завоевал себе. Несколько дней назад я публично назвал советское правительство и ГБ — сворою чертей, рогатой нечистью в метаниях перед заутренней, сказал и о бескрайности беззакония, и о геноциде народов, — что ещё добавлять сейчас? Простые вещи и без того всем известны. (Отнюдь нет?) А сложные — не прессе передать. Как бы я хотел вообще больше не делать никаких заявлений! В Союзе я последние дни частил ими по нужде, обороняясь, — но здесь какая неволя? Да здесь и каждый неси, что хочешь, тут не опасно.

Лежал в бессоннице, в сознании счастливого освобождения, но — и перепутанного разветвления мыслей: что и как теперь делать? да ещё сами вопросы не выдвинулись из темноты, так и не решить ничего.

В эту ночь прилетела Бетта, сердечно встретились. Она переломила моё настроение — вообще не выходить к корреспондентской толпе, до того не хотелось, ну никакого смысла я не видел выставляться как чучело. Убедила, что мы с Генрихом должны выйти, прогуляться по лужку, дать пофотографировать нас, без этого репортёры не могут уехать, прикованы. После завтрака вышли мы с Генрихом, посыпались от дверей вопросы в таком множестве — и пожелаешь, так не ответишь, и всё поразительная дребедень, вроде: что я чувствую в данную минуту? как спалось эту ночь? Не помню, каких-то несколько фраз я провякал. Потом мы с Генрихом медленно прошлись метров сто и назад. Фотокорреспонденты пятились перед нами по неровной земле в безумной тесноте, один пожилой больно упал на спину — жалко его стало, да и всем не позавидуешь в этой работе.

Следующее решение Бетты было, что моей гебистской белой рубашки надолго не хватит. И на марки, сунутые мне от ГБ в самолёте, пошла она и купила в сельском магазинчике случайных две. Я сразу и не смекнул, но та, которую надел на следующий день в дорогу, была в вертикальных серо-белых полосах, как частокол, весьма похожая на форму советских эков в лагерях спецрежима.

Вскоре за тем в доме Бёлля появился и неторопливый, предельно солидный мой благодетель доктор Хееб, плотный, крупнолицый, весьма осанистый. Пока с нами Бетта, мне не надо было упражнять свой немецкий язык, но и ни о чём серьёзном говорить не предстояло. Да толпа корреспондентов опять требовала и требовала меня на выход, фотографировать, спрашивать.

Примчавшиеся со всех концов Европы и через океан — какого *заявления* ждали они? Я не понимал. Им нужна была всего какая-нибудь мелочь для крупного заголовка: что я исключительно устал или, наоборот, совершенно бодр? что я чрезвычайно рад оказаться в Свободном Мире? или что мне очень понравились германские шоссезные дороги? Вот и всё, и дальняя поездка каждого из них оправдалась бы. Но, только что из рукопашной, не мог я, если б и понял, их так развлекать.

А молчанием моим — они оказались крайне разочарованы.

Так — с первого шага мы с западной «медиа» не сдружились. Не поняли друг друга.

Тут приехал из Бонна вчерашний знакомец, встречавший меня от германского МИДа, господин Дингенс. Сели в светлой гостиной за стол, но по торжественной европейской привычке у жены Генриха Аннемарии на столе горело и несколько красных свечей. Дингенс привёз мне временный краткосроч-

ный немецкий паспорт, без которого нельзя было существовать, а тем более двигаться. И официально, от правительства, предложил, что я могу избрать местом постоянного жительства Германию.

На минуту я заколебался. Такого плана у меня не было (в задумке была Норвегия). Но Германию — я любил. Наверно оттого, что в детстве с удовольствием учил немецкий язык, и стихи немецкие наизусть, и целыми летними месяцами читал то сборник немецкого фольклора, «Нибелунгов», то Шиллера, заглядывал и в Гёте. В войну? — ни на минуту я не связывал Гитлера с традиционной Германией, а к немцам в жаркие боевые недели испытывал только азарт — поточней и быстрее засекают их батареи, азарт, но нисколько не ненависть, а при виде пленных немцев только сочувствие. Так и жить теперь в Германии? Может быть, это и было бы правильно. Но грезилась Норвегия, а пока-то, пока-то вот сейчас — ну конечно в Цюрих, и главное, о чём два дня назад и подумать не мог: ведь недописанный «Октябрь Шестнадцатого» так был скуден подробностями ленинской жизни в Цюрихе, ничего ведь позаочью не представишь, — а теперь сам, вот, хоть завтра увижу?

С благодарностью, не наотрез, но пока отклонил.

Посидели сколько-то с Бёллями, не успели никакие мысли наладиться — снаружи известие: приехал и хочет меня видеть Дмитрий Панин с женой (со второй женой, с которой он эмигрировал, я её не знал). Я изумился: да ведь он же в Париже? с какой же лёгкостью так сорваться — и сразу перелететь? и не осведомить заранее? Да представляет ли он всё стеснение моего духа и времени сейчас?

Но это был Митя Панин, мой лагерный друг, «рыцарь Святого Грааля», надо было его знать! Лет пять назад читал я рукопись его философской работы, как понять человечество и как его спасти. Допытывался у него: а — с чего же начать? Что именно делать *сейчас*? Но ему всегда была важна только законченность конструкции мировоззренческой, а практика? — это мелкое дело, это сделает кто угодно второстепенный. (Неотчётливое ощущение реальности и возможных движений в ней. Так, в 1961 он резко осуждал, что я дал «Ивана Денисовича» в «Новый мир» и тем приоткрыл своё подполье: надо было продолжать таиться взыкрыте.) Спасение нашего народа от коммунизма? да очень простое: надо убедить Запад дать *общий слитный ультиматум*: откажитесь от коммунизма или мы вас уничтожим! — вот и всё. И советские вожди несомненно капитулируют. (Я поднял его на смех.) Недоработка лишь в том, твёрдо видел он, что западные страны — в расстройстве, не действуют в одном строю, вот и де Голль безрассудно отъединился от НАТО. Чтобы их сплотить — надо действовать через Папу Римского («Крестовый поход!»). Два года назад Митя и взял на себя, так и быть, практическую эту задачу: он сам убедит Папу Римского! для этого вместе с новой женой выехал по её израильской визе. И — был-таки принят Папой. Увы, Папа не усвоил такого прямого и простого образа действий. Тогда Митя стал готовить почву сам, издал книгу «Записки Сологодина» (его фамилия в «Круге первом») и ездил по Европе с презентациями её и с афишами, где с малого фото была увеличена наша с ним обнимка по плечам. Лекции были призывно-боевыми, всем безотлагательно подниматься и сплываться против коммунизма, — но неразумные европейцы откликались вяло.

Часть из этого я знал ещё в СССР по левым письмам и газетным вырезкам, остальное он досказал мне теперь. Мы присели с ним в первой комнате, а жена его перешла в гостиную, к красным свечам и нашей остальной компании. Так вот с чем приехал Митя: немедленно объявить и продемонстрировать перед этим скопищем прессы наш с ним Блок и Союз против коммунизма, насмерть. (Распределение обязанностей он всегда понимал и писал мне так: ты — стремительный фрегат с расцветченными парусами, а я в нём — трюм идей, арсенал, вместе мы будем непобедимы!) Боже, как это не вмещалось не только в мои первые часы прилёта, не только в мои усилия осваиваться в новом положении, но в простое же человеческое жизненное понимание: ну, кто

же так чего-нибудь добьётся? ну, только на смех себя выставить. Нет! Митя этого не понимал. Бесплезно прошли все мои доводы, он был больно ранен моим отказом, забрал жену и уехал в обиде, если не в гневе.

А тут новый вызов: приехал и просится ко мне Янис Сапиет из русской секции Би-Би-Си (известный всем слушателям как «Иван Иваныч») — ну как его не принять? И — теплейший, милейший оказался человек, и голос какой знакомый издавна. Уговорил он меня записать тут же интервью — да ведь для советских слушателей, и в самом деле надо. Записал (а что — не помню.)

Мой паспорт на руках, можно бы и ехать, не утомляя больше Генриха. (Как бы не так! весь мир узнал, что я у него, — и теперь почти месяц будут литься сюда телеграммы, письма, книги — и его секретарю труд регистрировать и всё пересылать в Цюрих.) И Бетта, и Хееб думали, конечно: лететь. Германию, значит, и глазком не посмотрим? А нет ли подходящего поезда? Нашёлся: завтра утром сядем в Кёльне и ещё засветло будем в Цюрихе. Великолепно.

Утром рано простились с гостеприимными Бёллями, поехали автомобилем. (А их — всё ещё стояло несколько десятков в узких улицах посёлка, теперь все заворачивали ехать за нами.) Вкратке достигли кёльнского вокзала, ничего в окно не рассмотрев, и наспех поднялись, чуть не лифтом, на нужный перрон, за две минуты до прихода нашего поезда.

Но эти две минуты! Прямо передо мной, ничем не загороженный, во всю свою стройность стоял — красавец, нет, слово не то, — чудо, Кёльнский собор! Даже не изощрённая отделка, а сколько глубины мысли и тяги к небесам в этих башнях, в этих шпилях. Я задохнулся и смотрел, разинув рот. (А проворные корреспонденты, уже на перроне, фотографировали, «как я смотрю».) И тут же — подошёл и поглотил нас поезд.

День распоживался, и смотреть в окно можно было без помех, с видами вдаль. Наш маршрут — у самого Рейна, по левому берегу его, через Кобленц и Майнц. Но Рейн казался грязным, опромышленным, уже и не поэтичным, даже около утёса Лорелеи (показали мне его). А до нынешней порчи, наверно, было картинно. Да главной красоты, многовековой угнеженности старых улочек и домов, — из проходящего поезда и не заметишь.

Как бывало в Москве: едва только встретимся с Беттой, Аля или я, идёт огневой обмен конспиративными соображениями, — а сейчас беспрепятственно бы обсуждать что угодно, а мысли никак не соберутся. Отойдя от сотрясения, его ощущаешь даже больше.

Уже известно было по пути, каким поездом меня везут, — и на станциях к вагону толпились кучки любопытных. Просили автографы на немецкое издание «Архипелага», я давал, то с вагонной площадки, то через окно, меня фотографировали, и всё в этой полосатой каторжанской рубашке, много таких снимков напечатано в Германии.

Середина февраля, а днём стало уже и жарко. После полудня достигли Базеля, проверка и на немецком вокзале, и на швейцарском. Пограничники меня уже ждали, приветствуют, тоже просят автограф. Теперь покатали по уютнейшей тесной Швейцарии, долинами между гор.

Вокзал в Цюрихе, не говорю наш перрон, но и все другие перроны, и асфальтный влив с площади и дальше площадь — всё было густо забито народом. Никакая полиция не могла оберечь, давка оказалась смертная, без преувеличения. Сжало нас в тисках, очень выделялись на защиту два высоченных швейцарца, издатели из «Шерца» («Архипелаг» на немецком), выглядели они прямо-таки самоотверженными, с риском для себя освобождали перед нами хоть сантиметры. Казалось: можем и не выйти целыми? По-крохотному, помалу, по малу, наконец долились до ожидающего автомобиля, меня как пробку туда втокнули, затем я долго там сидел, окружённый извне доброжелательными и прямо восторженными, вопреки их характеру, швейцарцами, — пока собирали остальную нашу компанию, расселись, тогда поехали медленно, под

всеобщее помахивание — и ещё сколько-то так на улицах. Цюрих с первого же моста, первых домов и трамваев выглядел очаровательно.

Поехали на квартиру к Хеебу. Он жил где-то в окраинной части города, в этажных домах новой постройки. Тотчас за нами корреспонденты обложили весь дом. Требовали, чтоб я вышел и сделал заявление. Не могу. Тогда — просто попозировать. Но и это было уже сверх сил, не вышел. (А в прессе накоплялась обида.)

Вскоре предупредили меня, что на квартиру Хееба приехал приветствовать меня штатдпрезидент Цюриха (то есть глава города) доктор Зигмунд Видмер. В гостиную вошёл он, высокий, интеллигентный, с мягким, но торжественно напряжённым лицом, я поднялся ему навстречу — а он, с большим усилием и ошибками, произнёс приветственную фразу — по-русски! Тут я ответил ему двумя-тремя фразами немецкими (оживлялись клетки старой мозговой памяти и связывались цепочками) — он просиял. Сели, дальше говорили через Бетту. Напряжённость ушла, он оказался действительно очень мягким и милым. Выражал самые радушные чувства, предлагал всяческую помощь в устройстве. Арендовать квартиру? А в самом деле: пожить у Хееба день-два, а дальше? Что-то надо решать.

Но решать — я ничего не находил. Да катились на меня требования, звонки, советы. Через какой-нибудь час уже звонил из Америки сенатор Хелмс, в трубку переводчик приглашал меня немедленно ехать из Цюриха в Соединённые Штаты, там меня бурно ждут. Ещё вскоре из Штатов же — Томас Уитни, переводивший «Архипелаг» на английский, знакомый мне пока лишь по имени. — Ещё звонок, низкий женский голос, по-русски, с малым акцентом: Валентина Голуб, мать её из Владивостока увёз отступающий чех в 1920; а Валентина с мужем-чехом бежали из Праги от советской оккупации — и теперь здесь, в Цюрихе. «Нас тут, чехов-эмигрантов, шесть тысяч, мы все вам поклоняемся, готовы для вас на всё, рассчитывайте на нас!» И предлагают любую бытовую помощь, и русский же язык. Я — тепло благодарен, да мы перед чехами за август 1968 кругом виноваты, и это — уже настоящие мне союзники. Уговариваюсь о встрече.

А вот ещё какая телеграмма из Мюнхена: «Все радиопередатчики радиостанции „Свобода“ к вашим услугам, открыты для вас. Директор Ф. Рейнольдс». Во как! Говори на весь СССР, сколько хочешь. Да, наверно, и надо же! Да разве дадут хоть минуту сообразить?

Кажется, не в этот вечер, а в следующий, но уж доскажу тут. С низу лестницы, где стоит полицейский пост (а то бы все хлынули сюда, в квартиру), докладывают: рвётся ко мне, просит принять писатель Анатолий Кузнецов. Ах, тот самый Кузнецов, «Бабий Яр», поразивший в 1969 своим убегом на Запад (под предлогом изучать ленинское бытё в Лондоне — ну, вот как я сейчас буду в Цюрихе?), но и тем же, что отныне стыдится фамилии Кузнецов (ибо по требованию советских властей он судился против своего западного самовольного издателя) и потому отныне все свои будущие романы будет подписывать «Анатоль» (а будущих, за пять лет, и не оказалось). Пропустили его. А времени, поговорить — некогда, накоротке, на ходу. Маленького роста, подвижный, очень искренний и с отчаянием в голосе. Отчаянием, конечно, как неудачно у него всё сложилось, — но и отчаянной опаской за меня, чтоб я не наделал ошибок, как он: мол, кессонная болезнь, переход из сильного давления в малое опасен тем, что разорвёт! надо — сперва не делать заявлений, надо оглядеться. (И прав же он!) Ах, бедняга, и для этого летел из Лондона, вот на эти десять минут, предупредить меня, что я и сам знаю? Я прекрасно понимаю, как надо остерегаться, я не только не рвусь к прессе, я не знаю, в какой рукав голову спрятать от её беспощадной осыды.

Так я и не вышел к репортёрам. Уже темно, спать бы? Жена Хееба даёт мне снотворное, всё равно не спится. Дохнуть бы воздуха. В полной темноте выхожу на балкон, 4-го этажа, с задней стороны дома, подышать в тишине, —

и вдруг зажигается сильный прожектор, на меня, уловили! сфотографировали! ещё который раз. Не даютдохнуть. Ухожу с балкона. Ещё какие-то таблетки.

В суматоху цюрихской вокзальной встречи угодил и Никита Струве — третья вершина Опорного Треугольника. А Цюрих, оказывается, подходящее место: тут и адвокат, сюда из Вены легко приехать Бетте, из Парижа, вот, Никите. Отсюда легче распутывать наши дела, запутанные конспирацией. А ведь ждуться ещё и арьбергские бои за «невидимок», кого ГБ прижмёт.

Был отдалённый друг за Железным Занавесом — а вот проступает и вживе. Невысокого роста, в очках, не поражая наружностью, ни тем более одеждой, лишь бы удовлетворительна, это и на мой вкус. А — быстрый, пронизательный взгляд, но не для того, чтобы произвести впечатление на собеседника, а себе самому в заметку и в соображение. С Никитой Алексеевичем оказалось всё так просто и взаимопонятно, как если б его не отделяла целая жизнь за границей: духом — он всё время жил в России, и особенно в её литературных, философских и богословских проявлениях на чужбине. В 1963 он книгой «Христиане в СССР» вовремя оповестил Запад о хрущёвских гонениях на Церковь. Вместе с тем — широкий эрудит и в западной культуре. (Кончил Сорбонну, пробовал древние языки, арабский и их философию; остановился на русском языке, литературе.) Очень деликатен (не мешает ли это ему в издательской деятельности, там надо уметь быть суровым); как бы опасался проявить настойчивость, а всё высказывал в виде предположений (к этой его манере ещё надо привыкнуть, не пропускать его беглых замечаний). Ещё больше опасался впасть в пафос и при малом к тому повороте высмеивал сам себя.

И вот досталось ему после провала «Архипелага» тайком-тайком готовить взрыв 1-го тома, главный удар в моём бою с ГБ. Пришлась публикация даже раньше, чем я надеялся, — ещё прежде русского Рождества и даже до Нового года; и несмотря на каникулярную на Западе пору — какой ураган звонков, запросов и требований обрушился на издательство «Имка» тут же.

Дел у нас с ним предстояло множество. 2-й том «Архипелага» перестал быть таким срочным, как нам виделось в Москве, уж я теперь не так торопил. Но вот надо было срочно заново печатать брошюру «Письма вождям»: уже готовое издание всё теперь не годилось из-за последних исправлений. А пора начинать и французский перевод «Телёнка» (плёнки ещё раньше прибыли тайным каналом). А ещё пора... Да все возможные публикации хотел бы я гнать скорей, скорей.

Дальше не помню, какая-то карусель дня два-три. Ездили с супругами Видмерами (жена Элизабет оказалась сердечнейшая), с Беттой и со Струве в горы, посмотреть дом Видмеров, предлагаемый мне для уединённой работы. (Только тем оторвались от потока репортёрских машин, что штатдпрезидент своей властью устроил сразу позади нас трёхминутный запрет проезда.) Домик этот, на предгорном хребтике, очень мне понравился: вот уж поработаю!

Зачем-то нужна была мне большая лупа, наверно наши вывезенные плёнки рассматривать. Заходим с Беттой в магазинчик, выбираю удобную лупу — продавец со страстью отказывается брать с меня деньги; премираемся, но так и пришлось взять подарком (и очень к ней потом привык). Посещаем внушительную адвокатскую контору Хееба на главной улице Цюриха, Банхофштрассе, тут в штате и жена, и сын его Герберт, симпатичный умный молодой человек, тоже тут служит, и ещё какая-то девица, и множество каких-то папок, папок, не до этого мне теперь. Да мне и очки срочно нужны, по соседству заказываю очки.

Потом мы всей компанией должны где-то пообедать, и тут я их всех (кроме Бетты) поражаю, что в ресторан не хочу: истомляет меня эта чинная обстановка, размеренно-медленный (потеря времени!) культ поедания, смакования, за всю советскую жизнь, 55 лет, кажется раза два только и был я в ресторане, по неотклонимости (да ведь и жил на обочинах жизни и постоянно без денег). Сейчас, да при всеобщем внимании, появиться в ресторане — мне со стыда сгореть. Хееб явно шокирован, но я прошу ехать в какую-нибудь простую сто-

ловую, да чтобы побыстрее. Хееб с Беттой советуются, не без труда находят, вне центра города, столовую при каком-то производстве. Рабочие и служащие густо сидят, видят меня, узнают, приветствуют, корреспондентов в этом месте почему-то не помню. Но по улицам они нас сопровождают и бесцеремонно подсовывают к моему рту длинные свои микрофонные палки: записать, о чём я разговариваю со спутниками. Не только ни о чём секретном, но вообще ни о чём нельзя сказать, чтоб не разнесли тут же в эфир. Меня взрывает: я требую, чтоб они прекратили и отвязались: «Да вы хуже гебистов!» Отношения мои с прессой всё портятся и портятся.

Но главное же! — ленинский дом посмотреть, Шпигельгассе. Какое скрепление, какая удача! почти не выбирая, попал я на жилу «Октября Шестнадцатого», на продолжение начатых ленинских глав! В первую же прогулку и идём с Беттой. (А зря: получилась необдуманная демонстрация, в газетах написали: пришёл поклониться дому Ленина!) Предвкушаю, сколько теперь могу в Цюрихе собрать ленинских материалов.

Как раз в эту прогулку настиг меня на улице Фрэнк Крепо из Ассошиэйтед Пресс, тот милый благородный Крепо, который так помог мне в разгар встречного боя, утвердиться тогда на ногах, — и как же теперь отказать ему в интервью в благодарность? Дал небольшое. [1]* (Небольшое-то небольшое, но что во мне горело — судьба архива, без которого я не мог двигаться, а какая у Али с ним уже удача — я не знал и наивно придумал пригрозить Советам: не отпустят архив исторический — буду лепить им о современности.) Однако другие корреспонденты, бредущие за нами толпой, видели, как Крепо подошёл ко мне на улице, я обрадовался — и через несколько часов у него уже интервью. Кто-то, из зависти или оправдать свою неудачу, дал сообщение, что Крепо привёз ко мне из Москвы тайное письмо от жены (а ничего подобного). На следующий день читаем это во всех газетах. А для Крепо это — *закладка*, ему сейчас откажут в советской визе, корреспонденту запрещено такое! Он подавлен. Значит, что же делать? Значит, новое заявление прессе, по этому поводу. К их толпе перед домом Хееба вышел и выражаю возмущение такой дезинформацией. А пусть-ка тот корреспондент, да само агентство или газета извинятся.

Наивен же я был, что раскается корреспондент, агентство или газета! — хваткой, углядкой, догадкой они и соперничают, на том и стоят, сколько стоят. Так, уже случай за случаем, эти первые дни на Западе, дни открытого сокосновения с кипящей западной «медиа», — вызвали у меня неприятное изумление и отталкивание. Во мне поднялось густое неразборное чувство сопротивления этим дешёвым приёмам: грянула книга о гибели миллионов — а они какую мелкую травку выщипывают. Конечно, это было неблагоприятно с моей стороны: вот такая западная медиа, как она есть, — она и построила мне мировой пьедестал и вызволила из гонений? Впрочем, не только она: бой-то вёл я сам. И хорошо знали гебисты, что если посадят меня, то тем более всё будет напечатано, и им же хуже. Пресса же спасала меня и по инерции сенсации. И по той же инерции, вот, всё требовали и требовали заявлений, и не понимали моего упорства.

Думали: молчу, пока семью не выпустили? Но уже уверен я был, что не посмеют не выпустить. Или — архивов не пропустят? Так и ясно было, что ни бумажки не пропустят, а всё зависит от находчивости Али и помощи наших доброжелательных иностранцев. Нет, не это. Сработал во мне защитный писательский инстинкт: раньше моего разума он осознал опасность выговориться тут в балаболку. Я примчался на Запад на гребне такой размашистой волны, теперь бы мог изговориться, исповторяться, отбиться от дара писания. Конечно, политическая страсть мне врождена. И всё-таки она у меня — за литературой, после, ниже. И если б на нашей несчастной родине не было погублено

* Цифра обозначает номер приложения, помещенного в конце главы. (Ред.)

столько общественно-активных людей, так что физикам-математикам приходится браться за социологию, а поэтам за политическое ораторство, — я отныне и остался бы в пределах литературы.

А тут ещё столкнулся с западной медиа в её яростном расхвате: подслушивают, подсматривают, фотографируют каждый шаг. Да неужели же я, не притворявшись перед Драконом на Востоке, — буду теперь притворяться и угрожать перед этими на Западе? Окутываете меня славой? — да не нужна она мне! Не держался я ни одной недели за хрущёвскую «орбиту» — ни одной и за вашу не держусь. Слишком отвратными воспринимал я все эти ухватки. «Вы хуже гебистов!» — эти слова тотчас разнеслись по всему миру. Так с первых же дней я много сделал, чтоб испортить отношения с прессой. Сразу была заложена — и на многие годы вперёд — наша ссора.

А вторая — безоткладная атака, не дающая подумать и очнуться, была — от почты. Ещё я нигде не жил, ещё не решил, где жить, квартировал дней несколько у Хееба — уже привозил он ящиками телеграммы, письма со всего мира, тяжёлые книги (а к Бёллю катились само собой) — да на всех мировых языках, и безнадежно было их хоть пересмотреть, перебрать пальцами, не то чтобы читать и отвечать. Да эти ящики — первые настойчиво требовали: куда ж их складывать? где я живу? Надо было скорей определить, где я живу.

У меня издавна была большая симпатия к Норвегии: северная снежная страна, много ночи, печей, много дерева в быту и посуда щепенная, и (по Ибсену, по Григу) какое-то сходство быта и народного характера с русским. А ещё же в последнее время они меня защищали и приглашали, где-то уже «стоял письменный стол» для меня, — у нас с Алей было предположено, что если высылка — то едем в Норвегию. (И Стига Фредриксона я тогда приглашал быть моим секретарём в предвидении именно скандинавской жизни.) Конечно — не в Осло, но в какую-нибудь глушь, рисовалось так: высокий обрывистый берег фиорда, на обрыве стоит дом — и оттуда вдаль вид вечно бегущего стального океана.

Так надо немедленно ехать смотреть Норвегию!

Моя поездка тотчас по высылке привлекла внимание и удивление. (Аля в Москве услышала по радио — не удивилась: поехал искать место.) На железнодорожных станциях Германии и Швеции узнавали меня через окно с перрона, на иных станциях успевали встретить делегации, по Копенгагену водили целый день почётно — уже на вокзале: пить пиво в полицейском участке, и малый их духовой оркестрик играл мне встречный марш. Потом — по улицам, с председателем союза датских писателей, осматривать достопримечательности, и всход на знаменитую Круглую башню. (Тут я увидел и церемонийный развод стражи в медвежьих шапках у королевского замка — о котором раньше только рассказ в Бутырках слышал.) Наконец — и в парламент, пустой зал, заседания не было. Дальше потащили меня в союз писателей, на вручение какой-то здешней премии. Говорили все по-датски, не переводя, я сидел-отдыхал-кивал, а после церемонии какой-то из писателей подошёл ко мне вплотную и, наедине, впечатал выразительно на чистом русском: «Мы вас ненавидим! Таких как вы — душить надо», — красный интернационал так сразу же мне о себе напомнил.

Вечером того дня мы с Пером Хегге, старым знакомцем по Москве, тогда всё ещё корреспондентом «Афтенпостен», поплыли на «пароме» (большом парохоме, со многими сотнями пассажиров, с буфетами, развлечениями и аттракционами для них) в Осло. Мне и побродить было невыносимо сквозь это шумное многолюдье, в каюте я лёг и пролежал ночь пластом. А утром, войдя уже в залив, на подходе к Осло, позвали меня в капитанскую рубку, посмотреть их технику слежения-вождения и полюбоваться видом. Уже в тёплой куртке, купленной с Беттой в Цюрихе, вышел я и на высокий нос, холодный был ветер, но прозрачно солнечный воздух, — и увидел внизу у пристани кучки людей с плакатами «God bless you», не сразу и догадался, что это — ко мне от-

носятся. Долго мы причаливали, сходила толпа — эти доброжелатели дожидались меня и светло встретили.

Шли по длиннейшей главной улице, Хегге сказал: «Знаете, кто это вот сейчас на тротуаре с вами поздоровался? Министр иностранных дел». Да, не в лимузине ехал в министерство, не в «чёрной волге», а пешком. (Вспомнил я опять же бутырский рассказ Тимофеева-Ресовского, что и норвежский король ходит пешком по Осло и без охраны.) Теперь и тут — в парламент, и тоже не день заседаний, но встретил меня парламентский президиум. Тут я объяснил в первый раз цель своего приезда, и председатель парламента, указав на свод законов, обещал их полную защиту, пока стоит Норвегия.

Но главный поиск мой был — фиорд, какой-нибудь фиорд для первого присмотра, и мы с Пером Хегге и норвежским художником Виктором Спарре, очень самобытным, поехали мимо главного норвежского озера Мьёсиншё с голубой водой, валунными берегами, а выше — чёрно-лесистыми горками; и дальше долинами реки Леген и Гудбрандской, углубляясь в норвежские горы, суровые, с причернью обнажённых отвесных скал, до фиолетовости тёмной синевой оснований и замёрзшими на высоте сине-зелёными водопадами. В доме художника Вейдеманна принимали нас с норвежско-русской радушностью, и открывалось нам «ты», так же естественное в норвежском языке, как в русском, и норвежский горец дарил мне свой кинжал в знак братства. И все зданья — дома и церкви, были рублены из брёвен, как у нас, а крыты иные — берёстою, и только двери окованы фигурным железом. На заборах торчали снопики овса и проса для малых птиц, чтоб они не погибли зимою. Ехали мимо деревянных церквей — зданий ещё IX века, с языческими украшениями на крышах (крестил население тут — король Олаф II, топором, в начале XI века), перед входом в ограду — столб с железным замыкаемым ошейником для выставляемых грешников (не в одной проклинаемой России подобные меры применялись!) и оружейными хижинами перед церковью, где вооружённые прихожане оставляли оружие. Суровость, зимность и прямота этой страны прилегли к самому сердцу. Верно я предчувствовал: такое где ещё сегодня найдёшь на изнеженном Западе? В этой обстановке — я мог бы жить.

(И по норвежскому телевидению, первому, по которому мне нельзя было не выступить, я сказал, нахожу теперь черновую запись: «Норвежцы сохранили долю спасительного душевного идеализма, которого всё меньше в современном мире, но который только один и даёт человечеству надежду на будущее». Может быть, целиком по Норвегии это и не так, но в ту поездку и в те встречи я так ощутил.)

И правда же: что значил и для Норвегии и для всей нашей одряхлевшей цивилизации плот «Кон-Тики»! Весь нынешний благополучный мир всё дальше уходит от естественного человеческого бытия, сильнее интеллектуально, но дряхлеет и телом, и душой. Так, для решения проблемы, откуда мигрировали жители тихоокеанских островов, только и можно сидеть в удобстве с бумагами и обсуждать теории. А у Тура Хейердала хватило мужества утерянных нами размеров — отправиться доказать путь на примитивном плавучем средстве. И — доказал! И вот покоится «Кон-Тики» в особом музейном здании национальной гордостью Норвегии — и я с почтением рассматриваю его. В гараже музея он кажется большим — но какая же щепка в океане...

Так норвежцы мне по духу — наиболее близкие в Европе?

Тут же меня везут и посмотреть какое-то продаваемое под Осло имение — помнится, 170 гектаров, по ним рассыпана избыточная дюжина живописных, под старину, и с древними очагами домов — для кого это настроено? а в доме владелицы с вычурной обстановкой угощают шипучими напитками, покупайте имение за безделицу в 10 миллионов крон. Я, конечно, и близко не соблазнился, а может и жаль: тогда бы на 8 месяцев раньше узнал бы от Хееба о моих не слишком просторных денежных возможностях.

В Осло же наткнулись мы, что в одном кинотеатре как раз идёт фильм об Иване Денисовиче. Конечно, пошли. Фильм англо-норвежский, Ивана Дени-

совича играет Том Кортни. И он, и постановщики приложили честно все старания, чтобы фильм был как можно верней подлиннику. Но что удаётся им передать — это только холод, холод и — условную — обречённость. А в остальном — и в быте, и в самом воздухе зэческой жизни — такая несхваченность, такая необоримая отдалённость, подменность. Журналисты спрашивали меня после сеанса — я, что ж? похвалил. Участники фильма — не халтурили, старались от сердца. Но самому так стало ясно, что никем как нашими — с советским опытом — актёрами этого не поставить. Зинула мне эта непереходимая, после советских десятилетий, пропасть в жизненном опыте, мировосприятии. (Ещё не видел я тогда позорного фильма «В круге первом», равнодушно-рвачески запущенного в мир.) И — разве мне дождаться при жизни истинной постановки?

Гнались за мной корреспонденты уже и по Норвегии, так что когда мы ночевали у Вейдеманна (сам он был в отъезде), — то под горой полицейский пост перегородил дорогу преследователям. И еле пропустил ко мне... внезапно приехавшего из Москвы — Стига Фредриксона! Родной, рад я ему был как! Он — смущён: дала ему Аля записку ко мне, он спрятал в транзисторный приёмник, но гебисты прекрасно догадались проверить и отоברали, и содержания утерянного он не знал. А главное: могли его теперь попереть из Москвы, лишит аккредитации. Значит, доследились до нашей с ним связи?

Но — что в доме там?? Тут я узнал: пока обыска не было, ничто не взято. Наружное наблюдение — круговое, прежнее, но через Стига и других дружественных корреспондентов (вот тебе и пресса! это — другая пресса) Аля разослала важную часть моего архива по надёжным местам. Нет и теперь уверенности, что с обыском ещё не придут. Но все близкие держатся хорошо, в квартиру к нам безбоязно приходят, Аля ведёт себя твёрдо, молодцом, главнокомандующим.

Теперь назад со Стигом все сведения и впечатления для Али я уж, конечно, не писал, передал устно.

А к фиорду мы с Хегге подъехали в Андалсьнесе, и оказался он — отлогоберегий извилистый морской залив, а горы — отступя. Не виделся тот обрыв, на котором у самого океана ставить бы дом изгнанника. Был я на Западе уже больше недели, внутри меня менялось восприятие и понимание, но что-то требовалось, чтобы дозреть. Вот эта морская вьёмистость низменного берега вдруг дояснила мне то, что зрело. Находясь в брюхе советского Дракона, мы много испытываем стеснений, но одного не ощущаем: внешней остроты его зубов. А вот норвежское побережье, изнутри Союза казавшееся мне какой-то скальной неприступностью, вдруг дало себя тут понять как уязвимая и желанная атлантическая береговая полоса Скандинавии, вдоль неё недаром всё шныряют советские подводные лодки, — полоса, которую, если война, Советы будут атаковать в первые же часы, чтобы нависнуть над Англией. Почти нельзя было выбрать для жительства более жаркого места, чем этот холодный скальный край.

Дело в том, что я никогда не разделял всеобщего заблуждения, страха перед атомной войной. Как во времена Второй Мировой все с трепетом ждали химической войны, а она не разразилась, так я уже двадцать лет уверен, что Третья Мировая — не будет атомной. При ещё не готовой надёжной защите от летящих ракет (у Советов она куда дальше продвинута пока) лидеры благополучной, наслаждённой своим благополучием Америки, проигрывающие войну во Вьетнаме своему обществу, — никогда не решатся на самоубийство страны: на первый атомный удар, хотя б Советы напали на Европу. А для Советского Союза первый атомный удар и тем более не нужен: они и так заливают красным карту мира, отхватывают в год по две страны, — им повалить сухопутьем, танками по североевропейской равнине, да вот прихватить десантами и норвежское побережье, как не упустил Гитлер. (Оттого-то СССР охотно взял обязательство не нанести атомного удара *первым*, он и не нанесёт.)

Так, ступя на берег первого фиорда, я понял, что в Норвегии мне не жить. Дракон не выбрасывает из пасти дважды.

А ещё за норвежские дни я задумался: на каком же языке будут учиться наши дети? Кто понимает норвежский в мире? А печатаешь что-нибудь в скандинавской прессе — в мире едва-едва замечают, или вовсе нет.

Возвращался в Швейцарию — опять поездами, через Южную Швецию, парбомом (теперь другим, для перевозки поездов), Данию, Германию, чтобы больше повидать Европу из окна. (Парому знаменательно пересек путь советский корабль, и, при близком виде советского флага, так странно было ощутить свою отдельность от СССР. С того же парома, в предвечерних сумерках, силясь я разглядеть поподробней гамлетовский Эльсинор.) Ехал — и перебирал, перебирал мысленно страны. Ещё как будто много оставалось их не под коммунизмом, а как будто и не найдёшь, где же приткнуться: та — слишком южная, та — беспорядочная, та — по духу чужа. Ещё одна, кажется, оставалась в мире страна, мне подходящая, — Канада, говорят — сходная с Россией. Но текли недели, ждалась семья, откладывать с выбором было некогда.

Да Цюрих — подарок какой для ленинских глав. Да и нет уже времени ездить выбирать, — ладно, пусть пока Швейцария.

И остался я в крупном городе — как не любил, не предполагал жить. Хотя правильно выбирать главное место жительства сразу и окончательно — в те первые западные месяцы никак было не до выбора его. Слишком много наваливалось, тяготело или ждалось.

А Зигмунд Видмер времени не терял. Тотчас по моему возврату предложил арендовать в возвышенной университетской части города, в «профессорском» квартале, половину дома. (А кроме того же — распоряжаться половиной его собственной дачки на цюрихском нагорьи, в Штерненберге.) Поехал я посмотреть. Скученные друг ко другу соседние дома, да в Цюрихе везде же так, а есть маленький, на две сотки, зеленотравный дворик, и место сравнительно тихое, по изгибу улицы Штапферштрассе, и движение небольшое (прицепилось спереди это «ш», а «Тапферштрассе» была бы — «Храбрая улица» или «Неустранимая»). Предлагаемые мне полдома, по вертикали, — подвал хозяйственный, но и с просторной низкой комнатой, можно детям зимой играть; на первом этаже гостиная и столовая с кухней, на втором — три спальни, и ещё мансарда скошенно-потолочная, из двух комнатёнок — вот тут и писать можно. Ещё и чердачок поверх крутой лесенки.

Не успел я поблагодарить и согласиться — на следующий же день городская управа привезла в аренду кой-какую мебель (можно потом вернуть, а понравится — купить). Но и ещё не успела эта первая мебель стать неуверенными ножками в разных комнатах, как лучшую и просторнейшую из них, прямо по ковровому полу, стали заваливать ворохи привозимых из конторы Хееба телеграмм, писем, пакетов, брошюр, книг: те хотели меня поздравить с приездом, те — пригласить в гости, другие — убедить что-то немедленно читать, третьи — что-то немедленно делать, заявлять или с ними встречаться. Знал я уже по взрыву после «Ивана Денисовича», как в таком всплеске перемешивается и порывистая сердечность, и звонкая пустота, и цепкий расчёт. (А враждебные письма — поразительно: и здесь были анонимные, ну казалось бы — чего им бояться?) Знал, что нет безнадежнее и пустее направления деятельности, как сейчас бы заняться разборкой и классификацией этого растущего холма: на многие месяцы он охотно обещал съесть все мои усилия, а начини отвечать — только удвоится, а не стань отвечать никому — перейдёт в сердитость. Сладок будешь — расклюют, горек будешь — расплюют. Я предпочитал второй путь. (Ещё ж были письма на скольких языках — на всех главных и вплоть до латышского, венгерского; представляли люди, что у меня сразу же по приезде и контора работает?)

Тут взялась мне помогать энергичная фрау Голуб. На сортировку писем дала двух студентов-чехов, они приходили после занятий. Что-то с посудой мне придумала; раз принесла готовую куриную лапшу, другой раз суп с отвар-

ной говядиной (такую точно ел в последний раз году в 1928, в конце НЭПа, никогда с тех пор и глазами не видел). Показала близкие магазины, где что покупать без потери времени. Очень выручила. Стал я и хозяйничать.

Дом запирался, а калитка сорвана, пока нараспашку. Ну, не сразу же узнают, где я, ничего? Как бы не так: в первые же сутки какой-то корреспондент выследил моё новое место, тихо отснял его с разных сторон — и фотографии в газету, с оповещением: Солженицын поселился на Штапферштрассе, 45. Ах, будь ты неладен, теперь кто хочешь вали ко мне в гости. И действительно, в распахнутую калитку стали идти, и шли, цюрихские или приезжие, кто только надумал меня посетить. (Приходили и типы весьма сомнительные, мутные, по их поведению и речам.)

Пока я ездил в Норвегию — а события своим чередом. В американском Сенате сенатор Хелмс выступил с предложением дать мне почётное гражданство США, как в своё время дали Лафайету и Черчиллю, только им двоим. [2] Теперь со специальным нарочным он прислал мне письмо с приглашением ехать. [3] Ещё в моём доме не было путём мебели, не включена потолочная проводка после ремонта, на полах груды неразобранных писем и бандеролей, никакой утвари, — и на единственной крохотной пишущей русской машинке, какая в Цюрихе нашлась, я выстукивал ему ответ [4] — политически совсем не расчётливый, но в моём уверенном сопротивлении: не дать себя на Западе замотать. Политическому деятелю мой, в этом письме, отказный аргумент кажется неправдоподобным, измышленной отговоркой: в моём сенсационно выигрышном положении — не рваться в гущу публичных приветствий, а «с усердием и вниманием сосредоточиться»? Но я именно так и ощущаю: если я сейчас замотаюсь и перестану писать — то приобретенная свобода потеряет для меня смысл.

Из лавины писем выловили, дали мне приглашение и от Джорджа Мини, от американских профсоюзов АФТ-КПП. [5] Потребительница всего нового и сенсационного, Америка ждала немедленно видеть меня у себя, и такая поездка в те недели была бы сплошной триумфальный пролёт и, конечно, почётное гражданство, — но я должен бы ехать тотчас, пока в зените, нарасхват, этот миг был неповторимый, общественная Америка — страна момента (как отчасти весь общественный Запад). (И Советы так и ждали, что я поеду, и в оборону мобилизовали десяток писателей и всё АПН, гнали целую книжку против меня на английском, «В круге последнем», полтора страница, и в мае советское посольство её рассылало, раздавало по Вашингтону*.)

Но я по духу — оседлый человек, не кочевник. Вот приехал, на новом месте столько забот по устройству — и что ж? всё кинуть и опять ехать? А в Америке — что? новые бурные встречи, и уже не отмолчишься перед ТВ и газетами, аудиториями, — и молоть всё одно и то же? в балаболку превращаться?

Вели меня совсем другие заботы.

Первая — спасётся ли мой архив? Эти, уже почти за 40 лет, с моего студенческого времени, мысли, соображения, выписки, подхваченные из чьих-то рассказов эпизоды революции, на отдельных листиках буквочками в маковые зёрна (легче прятать)? а за последние годы и концентрированный «Дневник романа», мой собеседник в ежедневной работе? и сама рукопись ещё не оконченного «Октября», тем более — не спасённого публикацией, как уже спасён «Август»? и ещё, вразброс по Узлам, даже и до XIX-го, написанные отдельные главы?

Вторая, очень тревожная, мысль: а вообще — сумею ли я на Западе писать? Известно мнение, что вне родины многие теряют способность писать. Не случится ли это со мной? (Некоторые западные голоса так уже и предсказывали, что меня ждёт на Западе духовная смерть.)

* Я её 12 лет и не видел, только сейчас перелистываю. Как и вообще: в недели перед высылкой я пропустил всю газетную кампанию против меня, я тогда в газеты не заглядывал, какие там имена подписываются и как меня основательно мажут на десятилетия вперёд. (Примеч. 1986.)

И ещё: сохранится ли благополучен арьергард — оставшиеся в СССР наши друзья и «невидимки»? Если б сейчас поехать в Америку — осиротить наши тылы в СССР: уже нет постоянного адреса, телефона, «левой почты», да сюда в Цюрих может кто и связной приедет, с известием, вот Стиг. (Он и приехал вскоре.)

В Союзе я держался до последнего момента так, как требовала борьба. На Западе я не ослабел — но не мог заставить себя подчиниться политическому разуму. Если я приехал действительно в свободный мир, то я и хотел быть свободным: ото всех домоганий прессы, и ото всех приглашителей, и ото всех общественных шагов. Все мои отказы были — литературная самозащита, та же самая — интуитивная, неосмысленная, прагматически рассматривая — конечно ошибочная, та самая, которая после «Ивана Денисовича» не пустила меня поехать в президиум Союза писателей получить московскую квартиру. Самозащита: только б не дать себя закружить, а продолжать бы в тишине работать, не дать загаснуть огню писания. Не дать себя раздёргать, но остаться собою. А международная моя слава казалась мне немеряной — но теперь не очень-то и нужной.

И я выстукивал очередной отказ. [6]

В одурашенном состоянии я лунатично бродил по пустому полудому и пытался сообразить, что мне первой и неотложней всего делать. Да не важней ли было ещё один долг выполнить? — перед моей высылкой мы с Шафаревичем надумали выступить с совместным заявлением в защиту генерала Григоренко. Но так и не успели. А составить был должен я, и появиться теперь оно должно в Москве, раз две подписи. В неустроенной комнате я и писал это первое своё на Западе произведение*. По «левой» почте послал его в Москву Шафаревичу. Там оно и появилось.

На каждом шагу возникали и хозяйственные задачи, но не мог же я и совсем отказаться от разборки почты, просто ходить по этим пластам.

А — чего только не писали! Какой-то старый эмигрант Криворотов прислал мне «Открытое письмо», большую статью (она была потом напечатана), обличая, что все мои писания — ложь, я только обманываю русский народ, ибо не открываю, что все беды в России от евреев, и ничего этого не показал в «Августе», ни в 1-м, вышедшем, томе «Архипелага». Пока не поздно — чтоб я исправился, иначе буду беспощадно разоблачён. (Позже были возмущения в эмигрантской прессе, как я «посмел не ответить» Криворотову.) И в других письмах были нарёки, что я — любимец мирового сионизма и проданся ему. А ещё живой Борис Солоневич (брат Ивана) рассылал по эмигрантам памфлет против меня, что я — явный агент КГБ и нарочно выпущен за границу для разложения эмиграции.

А Митя Панин из Парижа слал мне строжайшие наставления, что пора мне включаться в настоящую антикоммунистическую борьбу. Вот сейчас в Лозанне съедется группа непримиримых антикоммунистов из нескольких смежных стран, и Панин там будет, — и чтоб я там был и подписался под их манифестом. (Боже, вот образец, как от долгого заключения и одиночества мысли — срываются люди по касательной.)

Тут, почти одновременно, проявились ко мне — Зарубежная Церковь и Московская Патриархия. От первой, вместе со священником соседнего с нами подвального храма о. Александром Каргоном (замечательный старик, мы потом у него и молились), приехали архиепископ Антоний Женевский (как я позже оценил, прямой, принципиальный, достойный иерарх) и весьма тёмный архимандрит монастыря в Иерусалиме Граббе-младший, тоже Антоний, — очень он мне не понравился, неприятен, и сильно политизирован. (Через несколько лет попался на злоупотреблениях.) А общий разговор: ждут же от

* См.: Солженицын Александр. Публицистика. В 3-х томах. Ярославль, Верхне-Волжское изд-во, 1995 — 1997. Т. 2, стр. 73 — 74. (Далее ссылки на это издание даются с указанием тома и страницы.)

меня реальной помощи, примыкания и содействия Зарубежной Церкви (о какой другой и речи нет).

В тех же днях приходит ко мне священник от Московской Патриархии (сын покойного писателя Родионова), он тоже рядом живёт, — и просит, чтоб я согласился на встречу у него дома с епископом Антонием Блюмом из Лондона (известным ярким проповедником, которого, по Би-Би-Си, знает вся страна). Соглашаюсь. И через несколько дней эта тайная встреча состоится. Епископ был не слишком здоров. Немного постарше меня. Врач по профессии, он избрал монашество, сперва тайным путём, в лоне Московской Патриархии. Теперь в ней же служит, и ещё ему долго служить. Спрашивает совета об общей линии поведения. Сдержанный, углублённый, взгляд с посверком. Но что я могу ему посоветовать? только жестокое решение: громко и открыто оповещать весь мир, как подавляют Церковь в СССР! Он отшатывается: это же — разрыв с Патриархией, и уже невозможность влиять с нынешней кафедры. А мне, ещё в размахе противоборства, непонятно: как же иначе сильнее в его положении послужить русскому православию?

Нет, в состоянии взбаламученности, перепутанности, многонерешённости — всё никак не пробьёшься к ясному сознанию. Что-то я делаю не то, а чего-то самого срочного не делаю. Но не могу уловить.

А в храм к отцу Александру я пошёл раз, пошёл два — был прямо схвачен за душу. Обыкновенный жилой дом. Спускаешься в подвал — все оконца только с одной стороны, близ потолка, и выходят прямо к колёсам грохочущего транспорта. А здесь, в подвале на сто человек, — пришло и молится человек десять, щемящий островок разорванной в клочья России, и почтенный священник, под 80 лет, в череде молений грудно придыхает и со страданием, едва не стоном произносит: «О еже избавити люди Твоя от горького мучительства безбожных власти!» Мало помню в России церквей, где бы так проникновенно молилось, как в этом подвале как бы катакомбной церкви, тем удивительней, что снаружи, сверху, грохотал чужой самоуверенный город. Да никогда за всю жизнь я такого не слышал, в СССР это же не могло бы прозвучать.

Раз в несколько дней звоню Але в Москву. Связь каждый раз дают, не мешают. Но много ли поговоришь? Вот обо всём, написанном выше, ведь почти ничего и нельзя. И Аля (занятая спасением архива, архива!) ведь ничего же не может мне о том процедить. Только, голос измученный: «Не торопи меня с приездом. Очень много хозяйственных хлопот». (Понимаю: *других*, посерьёзней. А ещё не осознал, что, ко всему, изматывают её полной ОВИРовской процедурой для семьи — все бумажки, справки, печати, как если б они просились в добровольную эмиграцию, — хоть этим досадить.) Тут ещё у младшего сына воспаление лёгких, надо переждать его болезнь.

Я — устраиваюсь в доме понемножку. Поехал с Голубами в крупный мебельный магазин, купил к приезду семьи сколько-то мебели, в том числе основательной норвежской, бело-древесной, хоть так внести Норвегию.

Супруги Голубы «и сколько угодно ещё чехов» готовы мне во всём помогать, они во всём мои радетели, объяснители и проводники по городу. (Хотя муж — неприятный, видно, что злой.) Нужен зубной врач, говорящий по-русски? Есть у них, повезли. А уж терапевт — так и первоклассный. Юноша-чех переставляет мой телефон из комнаты в комнату, без нагляду. Вот кто-то хочет мне подарить горный домик у Фирвальдштетского озера — везут меня туда чехи, пустая поездка. (Место на горе — изумительное, а мотив подарка выясняется не сразу: если б я взял этот домик — даритель надеялся, что власть кантона проведёт ко мне наверх автомобильную дорогу, и как раз мимо домика самих дарителей.) Да не откажитесь встретиться с нашими чехами, сколько в нашу квартиру вместится! Я согласился охотно. Устроили такую встречу на квартире у Голубов. Набралось чешских новоэмигрантов человек сорок, видно, как много достойных людей, — и какая тёплая обстановка взаимного полного понимания (с европейцами западными до такого добираться — семь вёрст до небес и всё лесом). И какая это радость: собраться единомышленни-

кам и разговаривать безвозбранно свободно. Да не откажитесь посетить нашу чешскую картинную галерею! Поехал. Хорошая художница, трогательные посетители. Да дайте же нам право переводить «Архипелаг» на чешский, мы будем забрасывать к нашим в Прагу! Дал. (Наперевели — и плохо, неумеючи, и растянули года на два, и перебили другому, культурному, чешскому эмигрантскому издательству.) Так же просили и «Прусские ночи» переводить — некоему поэту Ржезачу. Но не повидал я того Ржезача, как он настойчиво добивался.

Даже тысячесторожные, стооглядчивые, прошнурованные лагерным опытом — все мы где-нибудь да уязвимы. Ещё возбуждённому высылкой, сбито-му, взмученному, не охватывая навалившегося мира — как не прошибиться? Да будь это русские — я бы с оглядкой, порасспросил: а какой эмиграции? да при каких обстоятельствах? да откуда? — но чехи! но обманутые нами, но в землю нами втоптаные братья! Чувство постоянной вины перед ними затмило осторожность. (Спустя два месяца, с весны, я стал жить в Штерненберге, в горах у Видмеров, чувствовал себя там в безвестности, в безопасности ночного одиночества, — а Голубы туда дорожку отлично знали. Позже стали к нам приходить предупреждения прямо из Чехословакии: что Голубы — агенты, он был прежде заметный чешский дипломат, она — чуть не 20 лет работала в чешской госбезопасности. Стали и мы замечать странности, повышенное любопытство, необъяснимую, избыточную осведомлённость. Наконец и терпеливая швейцарская полиция прямо нас предупредила не доверять им. Но до этого ещё долго было — а пока, особенно до приезда моей семьи, супруги Голубы были первые мои помощники.)

Хотя знал же я, что в чужой обстановке всякий новичок совершает одни ошибки, — но и не мог, попав на издательскую свободу, никак её не осуществлять — так напирала мука невысказанности! С ненужной торопливостью я стал двигать один проект за другим. Издал пластинку «Прусские ночи» (через Голуба, конечно). У меня в груди напряглось за годы, что «Прусские ночи» — это важный удар по Советам. А по западному восприятию удар-то этот — по русским... Тут же начал переговоры (через Голуба, снова) о съёмке фильма «Знают истину танки», привезли ко мне чешского эмигрантского режиссёра Войтека Ясного, много времени мы с ним потратили, и совсем зря. А ведь у меня сценарий был — из главных намеченных ударов, я торопил его ещё из Москвы. А вот приехал сюда и сам — а запустить в дело не могу.

Но ещё же — самое главное: «Письмо вождям Советского Союза»*. Ведь оно так и застряло в парижском печатании в январе, последние поправки остались при аресте на моём письменном столе в Козицком переулке (но Аля уже сумела, вот, дослать их Никите Струве), — так надо ж скорей и «Письмом» громыхнуть! Я всё ещё не сознавал отчётливо, как «Письмо» моё будет на Западе ложно истолковано, не понято, вызовет оттолкновение от меня. Я только внутренне знал, что сделанный мною шаг правилен, необходимо это сказать и не дать вождям уклониться *знать* о таком пути.

Высший смысл моего «Письма» был — избежать уничтожающего революционного исхода («массовые кровавые революции всегда губительны для народов, среди которых они происходят», — писал я). Искать какое-то компромиссное решение с верхами, ибо дело не в лицах, а в системе, — устранить её. Так и написал им: «Смена нынешнего руководства (всей пирамиды) на других персон могла бы вызвать лишь новую уничтожающую борьбу и наверняка очень сомнительный выигрыш в качестве руководства». (Ибо, думал: почему надо ждать, что при внезапной замене *этих* — придут ангелы или хотя бы честные, работающие, или хотя бы с заботой о маленьких людях? да после 50-летней порчи и выжигания нашего народа всплывёт наверх мразь, наглецы и уголовники.)

Конечно, не было никакой сильной позиции для такого разговора, и в моём письме была прореха аргументации: на самом деле коммунистическая

* «Публицистика», т. 1, стр. 148 — 186.

идеология оправдала себя как великолепное оружие для завоевания мира, и призыв к вождям отказаться от идеологии не был реальным расчётом, но всплеском отчаяния. Я только напоминал им, насколько же *сплошь* ошибся марксизм в своих предсказаниях: экономическая теория примитивна, не оценивает в производстве ни интеллекта, ни организации; и «пролетариат» на Западе не только не нищает, а нам бы его так накормить и одеть; и европейские страны совсем не на колониях держались, а без них ещё лучше расцвели; а социалисты получают власть и без вооружённого восстания, как раз развитие промышленности и не ведёт к переворотам, это удел отсталых; и социалистические государства нисколько не отмирают; да и войны ведут не менее ретиво, чем капиталистические. А китайскую угрозу я вздувал сильнее, чем она на самом деле уже тогда возросла, — но страх этот в стране жил, а о будущем — не загадывай тем более.

Я не мог построить «Письма» сильнее, потому что силы этой не было за нами в жизни. Но я искал каждый поворот довода, чтобы протронуть, пробрать дремучее сознание наших неблагословенных вождей. «Лишь бы отказалась ваша партия от невыполнимых и ненужных нам задач мирового господства»; «достало бы нам наших сил, ума и сердца на устройство нашего собственного дома, где уж нам заниматься всею планетой»; «потребности *внутреннего* развития несравненно важнее для нас, как для народа, чем потребности *внешнего* расширения силы», «внешнего расширения, от которого надо отказаться». (Ох, да способны ли они до этого доразуметь?) «Вся мировая история показывает, что народы, создавшие империи, всегда несли духовный ущерб». (А — что им до духовного ущерба?) «Цели великой империи и нравственное здоровье народа несовместимы. И мы не смеем изобретать интернациональных задач и платить по ним, пока наш народ в таком нравственном разорении и пока мы считаем себя его сыновьями». (Да нешто они — «сыновья»? они — «Отцы»...)

И в развитие этого, в отчаянной попытке пронять их бесчувственную толстокожесть: да хватит с нас заботы — как спасти наш народ, излечить свои раны. «Неужели вы так не уверены в себе? У вас остаётся вся неколебимая власть, отдельная сильная замкнутая партия, армия, милиция, промышленность, транспорт, связь, недра, монополия внешней торговли, принудительный курс рубля, — но дайте же народу дышать, думать и развиваться! Если вы сердцем принадлежите к нему — для вас и колебания не должно быть!» Но нет, — *сердцем* они уже не принадлежали... Просто мне страстно хотелось убедить — даже не нынешних вождей, но тех, кто придёт им на смену завтра, или может их свергнуть.

И призыв мой к Северо-Востоку был — лишь как бы душевным остоянием перед невзгодами и разрывами, которые неизбежно ждут нас, как мне виделось. Мы ещё «обильно богаты неосвоенною землёй»; а «*высшее богатство* народов сейчас составляет *земля*» — простор для расселения, биосфера, почва, недра, — а мы-то довели свою деревню до полного упадка. Не то чтоб я *хотел* свести страну до РСФСР и компенсировать нас на неосвоенных пространствах Севера Европейской России и Сибири, — но я предвидел, что многие республики, если не все, будут отваливаться от нас неизбежно, — и не держать же их силой! «Не может быть и речи о насильственном удержании в пределах нашей страны какой-либо окраинной нации». Нужна программа, чтоб этот процесс прошёл безболезненно, хуже будет, если доведём до потери Северного Кавказа или южнорусских причерноморских областей.

И о многом, о многом ещё написал, ведь такое пишется раз в жизни. Об упадке школы, семьи, о непосильном женском физическом труде; о бессмыслице для *них же самих* преследовать религию: «с помощью бездельников травить своих самых добросовестных работников, чуждых обману и воровству, — и страдать потом от всеобщего обмана и воровства»; да для верующих уж не прошу льгот, «а только: честно — не подавлять». И вообще: «допустите к честному соревнованию — не за власть! за истину! — все идеологические и все

нравственные течения». И о том написал, что более всего невыносима «навязываемая повседневная идеологическая ложь», и пусть их брехуны-пропагандисты, если они воистину идейные, пусть агитируют за марксизм-ленинизм в нерабочее время, и не на казённой зарплате. И о том, что «нынешняя централизация всех видов духовной жизни — уродство, духовное убийство». Без 60 — 80 городов... — «самостоятельных культурных центров... — нет России как страны, лишь какой-то безгласный придаток» к столицам.

По логике моей жизни в Союзе — это «Письмо» было неизбежно, и вот годы проходят — я ни на миг с тех пор не пожалел, что послал его правительству; даже в дни провала «Архипелага». Для спасения страны — переходный авторитарный период, это верно. У меня же дымилось перед глазами крушение России в 1917, безумная попытка перевести её к демократии одним прыжком; и наступил мгновенный хаос. «А за последние полвека подготовленность России к демократии, к многопартийной парламентской системе, могла ещё только снизиться». Ясно, что выручить нас может только плавный, по выражам, спуск к демократии от ледяной скалы тирании через авторитарный строй. «Невыносима не сама авторитарность», «невыносимы произвол и беззаконие»; «авторитарный строй совсем не означает, что законы не нужны или что они бумажны, что они не должны отражать понятия и волю населения». Как этого всего не понять? С каким безумием наши радикалы предлагали прыгнуть на автомобиле с кручи в долину?.. Их жажда «мгновенной» демократии была порыв кабинетных, столичных людей, не знающих свойств народной жизни.

А другого момента для «Письма», оказывается, и быть не могло, чуть позже — и навсегда бы упущено: выслан. И даже если б я в тот момент осознавал (но не осознавал), как это аукнется на Западе, — я всё равно послал бы «Письмо». Моё поведение определялось судьбой России, ничем другим. Надо думать, как воз невылазный вытаскивать.

Однако осенние месяцы 1973 шли. «Письмо», конечно, в ЦК заглохло. (Да и станут ли его читать?) Готовился ко взрыву «Архипелаг». Очень предполагая в том взрыве погибнуть, хотел я опубликовать и свою последнюю эту программу вместе с ещё последней — «Жить не по лжи». Я видел только соотношение нашего народа и нашего правительства, а Запад был — лишь отдалённым местом моих печатаний, Запада я не ощущал кончиками нервов. Я никак не ощущал, что поворот от меня ведущей западной общественности даже уже начался два года назад: от Письма Патриарху — за пристальное внимание к православию, от «Августа» — за моё осуждение либералов и революционеров, за моё одобрение военной службы (в Штатах это пришлось на вьетнамское время!); не говоря уже, что и художественно их раздражало то, что я отношусь к изображаемому с сильным соучастием. На Западе же теперь литературное произведение оценивают тем выше, чем автор отрешённее, холодней, больше отходит от действительности, преобразая её в игру и туманные построения. И вот, сперва нарушив законы принятой художественной благообразности, я теперь «Письмом вождям» нарушал и пристойность политическую. Под влиянием критики А. А. Угримова («Невидимки») я впервые увидел «Письмо» глазами Запада и ещё до высылки подправил в выражениях, особенно для Запада разительных: ведь это было не личное письмо, а без ответа оставшаяся программа имела право усовершенствоваться. Но исправленья мои были мелкие, всё главное осталось, и не могло измениться. И теперь на Западе я, так же не вдумавшись, не понимая, какой шаг делаю, — гнал, торопил издание на русском, английском, французском. 3-го марта «Письмо» впервые появилось в «Санди таймс» (без потерянного в «Имке», я не знал, важного авторского вступления к «Письму», без чего оно не полностью понятно, искажилось).

А для Запада теперь это выглядело так: от лютого советского правительства они защищали меня как демократического и социалистического героя (мне же приписали взгляды Шулубина о «нравственном социализме», — потому что очень хотелось так понимать). Спасли меня — а я, оказывается, ни-

сколько не социалист, и предлагаю авторитарность, и тому драконскому правительству какие-то переговоры, и даже уже с давностью полгода. Так я — не единомыслящий Западу, а то и противник? Кого ж они спасали?

И после близких недавних восторгов — полилась на меня уже и брань западной прессы, крутой же поворот за три недели! Да если бы хоть прочли внимательно! — из отзывов и брани сразу высказывалось, что эти газетчики и *не удосужились прочесть подряд*. Тут впервые поразила меня, а потом проявилась постоянным свойством — недобросовестность. Не резче ли всех хлестала «Нью-Йорк таймс», отказавшая моё «Письмо» печатать? Но прослышав от Майкла Скеммела, что внесены какие-то *поправки*, добыла у простодушного Струве именно список поправок, и напечатала не само письмо, а только поправки, раздувая скандал. Газета теперь обзывала меня реакционером, шовинистом, империалистом. Тут и я онедоумел, и можно онедоуметь: в чём же империалист? Предлагаю Советам прекратить всякую агрессию, убрать отовсюду свои оккупационные войска, — кому ж это плохо? пишу же: «цели империи и нравственное здоровье народа несовместимы», — нет, империалист! А потому что всякий русский, как только выявит себя русским патриотом, — уже «империалист».

Да больше всего их ранило, что я оказался не страстный поклонник Запада, «не демократ»! А я-то демократ — попоследовательней и нью-йоркской интеллектуальной элиты и наших диссидентов: под *демократией* я понимаю реальное народное самоуправление снизу доверху, а они — правление образованного класса.

Замешательство и враждебное отношение к «Письму», возникшее в Соединённых Штатах, отразилось во втором письме сенатора Хелмса, приоткрывавшего и свою внутреннюю подавленную американскую (южную) боль. [7] Отвечая ему, я разяснил свою позицию шире. [8]

И тотчас, в поддержку этому возникшему в Штатах враждебному мне кручению, — громко и поспешно добавил свой голос Сахаров.

Чего я никак-никак не ожидал — это внезапного враждебного отголоска от Сахарова. И потому что мы с ним никогда ещё публично не спорили. И потому что за несколько дней перед тем он приходил в Москве к моей отъезжающей семье (долгий вечер сидели с друзьями на кухне, и песни пели, Андрей Дмитриевич подпевал), — и ни звуком же, ни бровью не предупредил меня через жену, что на днях будет отвечать. Конечно, не обязан, — но я-то свою критику его взглядов («На возврате дыхания и сознания», 1969) передал ему тихо, из рук в руки, и пятый год не печатаю, никому не показываю. И в той критике своей, после детального чтения, я бережно подхватывал, отмечал и поддерживал каждый убедительный довод Сахарова, каждое его доброе движение. И что ж он сейчас не мог передать свой ответ и мне, с Алей? Если опасался послать письменный текст — то хоть что-то устное? и хотя бы с каким-то дружественным словом?

Нет, на второй день как семья моя выехала, он — вчуже громыхнул на весь мир ответом, — да с какой поспешностью! как ещё не передавались самиздатские статьи: они обычно плыли ручной передачей, а тут — по телефону из Москвы в Нью-Йорк, к соратнику Чалидзе, 20 страниц по телефону! — какая же острая спешка, почти истерика, на Андрея Дмитриевича слишком не похоже, знать так горячо его склоняли, торопили — поспешить ударить! только сторонним влиянием и могу объяснить. И гебисты злорадно не прерывали этой долгой телефонной диктовки, как прерывают часто и мелочь.

Но — ещё обиднее: так спешил Сахаров, что даже «Письма» моего, видно, не прочёл хорошо? или только по радио слышал, и вот по слуховой памяти? —

* Вот, в 1984 Лех Валенса в «Ридерз дайджест» напечатал: если польскому [коммунистическому] правительству предложить разумную программу — то оно примет требования народа. А что такое «Письмо вождям»? Но — полякам так можно, а русским — нельзя. (*Примеч. 1986.*)

приписал моему письму, чего там вовсе не было. Например, такое: «стремление отгородить нашу страну... от торговли, от того, что называется обменом людьми и идеями», «замедление научных исследований, международных научных связей», замедление же и «новых систем земледелия», «отдать освободившиеся ресурсы государства» энтузиастам национально-религиозной идеи и «создать им возможность высоких личных доходов¹ от хозяйственной деятельности». Наконец, «мечта Солженицына о возможности обойтись... почти что ручным трудом». Да побойтесь Бога, Андрей Дмитриевич, да ведь ничего этого в моём «Письме» нет, откуда вы взяли? Научная некорректность — это ж не ваша черта!

Я — не ожидал. Но если вдуматься, ожидать надо было. Общественное движение в СССР, по мере всё более энергичного своего проявления, не могло долго сумятиться без проступа ясных линий. Неизбежно было выделиться основным направлениям и произойти расслоению. И направленья эти, можно было и предвидеть, возникнут примерно те же, какие погибли при крахе старой России, по крайней мере главные секторы: социалистический, либеральный и национальный. Социалистический (братья Медведевы, спаянные с группой старых большевиков и с какими-то влиятельными лицами *наверху*) представлял наиболее организованное направление, очевидно, уже давно тяготился своим смещением и мнимой общностью с остальным *Демдвижем* (хотя и тот не порицал советского режима) — и первый поспешил с разрывом и наступательным действием: в ноябре 1973, едва только стихла громоздкая барабанная правительственная атака на Сахарова, — Рой Медведев напал на Сахарова как бы в спину. Это многих тогда поразило. А вот теперь, едва кончилась правительственная расправа со мной, — Сахаров, определившийся вождь либерального направления, атаковал меня.

А мировой резонанс в тот момент был обеспечен. Сама атака шла в неравных условиях, да, но парадоксальным образом: из-за границы — туда, где Сахаров оставался во власти врагов, я не мог отвечать полновесно и остро. Именно моя свобода при его несвободе связывала мне руки.

Но откуда такая тревожная поспешность этого отклика, его напряжённость? кажется, я не предлагал «вождям» ничего немедленного. Я усовещивал их — впредь на большое время; а немедленно, вот сейчас — всех разгоняло, давило, секло коммунистическое правительство. Однако покидая неотложные опасности и заботы, Сахаров сел за некроткий ответ мне.

Сама статья Сахарова^{*} в большей своей части (но не до конца) выдержана в характерном для него спокойном теоретическом тоне. Во взглядах она почти неизменно повторяет его «Размышления о прогрессе», хотя тому минуло уже 6 лет. Сахаров так и писал: прежние общественные выступления «в основном по-прежнему представля[ются] мне правильными». Снова тот же «рационалистический подход к общественным и природным явлениям», и так же ему «само разделение идей на западные и русские непонятно». (А ведь это — не физика, не геометрия, это гуманитарность, и как же, не чуя этого разделения, нам высказываться по общественным проблемам? В гуманитарной-то области идеи во многом определяются *именно* средой своего рождения, традицией и менталитетом *именно* этого народа.) И тот же, во всей статье, планетарный образ мышления, не умелчанный до рассматривания национальной жизни: «нет ни одной важной ключевой проблемы, которая имеет решение в национальном масштабе», всё решит «научное и демократическое общемировое регулирование» (и перечисляет глобальные проблемы цивилизации, совсем опуская дух, культуру и собственно человеческую многомерную жизнь).

В отличие от «Размышлений» на этот раз Сахаров определён и категорично осуждает марксизм. Однако: «Солженицын излишне переоценивает роль идеологии». По его мнению «современное руководство страны» не идео-

^{*} Сахаров Андрей. О письме Александра Солженицына «Вождям Советского Союза». — «Хроника» (Нью-Йорк), 1974; «Знамя», 1990, № 2, стр. 14 — 21; и др.

логией ведо́мо, а «сохранением своей власти и основных черт строя» (какого же строя, если не марксо-ленинского? и каким же инструментом, если не идеологией? и если б не Идеология, с чего б они так испугались, придушили свою же, косыгинскую, неглупую экономическую реформу 1965 года?). Но странно: хотя моё «Письмо» было направлено именно к *вождям*, с призывом именно *вождям* отказаться от Идеологии, — у меня и слова нет, чтоб за эту идеологию держалось советское *общество* или народные массы, — Сахаров с непонятной рассеянностью не замечает этого, и *трижды* в своей статье, с усилием, в открытую дверь, спорит: «если говорить именно о современном состоянии *общества* [курсив мой], то для него характерна идеологическая индифферентность», «не надо переоценивать роль идеологического фактора в сегодняшней жизни советского *общества*», «Солженицын, как я считаю, переоценивает роль идеологического фактора в современном советском *обществе*». Странное оспаривание *мимо* предмета спора (тоже от торопливости прочтения?) — а ведь здесь *ось* сахаровского ответа. И проскальзывает, всё же, старая оговорка: «казарменный социализм», — будто кто-либо, когда-либо видел другой, будто Маркс вёл к какому-то «нестеснённому» социализму? и ещё характерна фраза: «...роль марксизма как якобы „западного“ и антирелигиозного учения». Якобы антирелигиозного? якобы умершего? Ах, Андрей Дмитриевич, да живуча эта Идеология — и ещё как! ещё сколько будут держаться за неё, — именно за казарменное «равенство», казарменную «справедливость», чтобы только не взгрузить на себя бремя свободы.

И уже не первый, не первый раз касается Сахаров *русской* темы в форме заёмно-распространённой: «в России веками рабский, холопский дух, сочетающийся с презрением к иноземцам, инородцам и иноверцам». (Как бы при таком презрении держалось бы 100-национальное государство?) Никак, А. Д., нельзя не сверяться с историками — С. Соловьёвым, С. Платоновым. И тогда узнаем, что на всём протяжении от Ивана IV до Алексея и Фёдора Россия тянулась получать с Запада знания и мастеров с их умением (и почётно содержала приехавших) — а отсекали им путь Ганза, Ливония, Польша да и прямое вмешательство Римского Престола: опасались все они усиления России. А с чего бы Петру понадобилось в Европу «прорубать окно»? Оно было *снаружи* заколочено.

Выражает Сахаров и мнение, что «призыв к патриотизму — это уж совсем из арсенала официозной пропаганды». И вообще, спрашивает он: «где эта здоровая русская линия развития?» — да не было б её, как бы мы 1000 лет прожили? уже и ничего здорового не видит Сахаров в своём отечестве? И особенно изумился, что я выделил подкоммунистические страдания и жертвы русского и украинского народов, — не видит он таких превосходящих жертв.

Дождалась Россия своего чуда — Сахарова, и этому чуду ничто так не претило, как пробуждение русского самосознания! Однако если подумать, то и этого надо было ожидать, подсказывалось и это предшествующей русской историей: в национально-нравственном развитии России русский либерализм всегда видел для себя (и вполне ошибочно) самую мрачную опасность. А с социалистическим крылом (да даже и с отпочковавшимися коммунистами) они были всё-таки родственники, через отцов Просвещения. И опять у Сахарова всё та же наивная вера, что именно свобода эмиграции приведёт к демократизации страны; и только демократия может выработать «народный характер, способный к разумному существованию» (о да, несомненно! но если понимать демократию как устойчивое, действующее народное самоуправление, а не как цветные флаги с избирательными лозунгами и потом самодовольную горделиво отделившихся в парламент и хорошо оплачиваемых людей); демократический путь (разумеется, просто по западному образцу) — «единственный благоприятный для любой страны» (вот это и есть *с х е м а*). И бесстрастно диктует Сахаров нашему отечеству программу «демократических сдвигов под экономическим и политическим давлением извне». (Давление извне! — американских финансистов? — на кого надежда!) А по центральному моему предло-

жению в «Письме» — *медленному, постепенному* переходу к демократии через авторитарность, Сахаров опять возражает *мимо* меня: «я не вижу, почему в нашей стране это [установление демократии] не возможно в принципе?», — так и я же не спорю с *принципом*, только говорю, как опасно делать это рывком.

Конечно, тон выступления Сахарова был неоскорбителен. Но к концу статьи он резко сменил его. И он был первым, кто назвал мои предложения «потенциально опасными», «ошибки Солженицына могут стать опасными». А если не прямо они, то «параллели с предложениями Солженицына» «должны настораживать». И если ещё не я сам прямо опасен, то неизбежно *опасными* проявятся какие-то мои последователи — и к этой-то неотложной *опасности* было так торопливо его письмо. Перекрывая болтами мягкость лично ко мне, не упустил он вставить набатную фразу, и сильно не свою: «Идеологи всегда были мягче идущих за ними практических политиков». Запасливая фраза, практически-политическая, да почти ведь в точности взята со страниц Маркса-Энгельса.

И эти-то сахаровские предупреждения, при начале капитулянтского деданта, пришлось Западу очень ко времени и очень были им подхвачены. По сути, только вот эти предостережения западная пресса вознесла и повторяла из статьи в статью, само «Письмо» почти не обсуждая. «Захватывающий дух диалог двух русских!» — пророчила она, несомненно ожидая, что дискуссия потечёт и дальше.

И мне — очень хотелось ответить немедленно, конечно. Как и Сахарова, меня тоже смутило многое у него. Но скромный, малый, щадящий ответ, лишь смягчить самые выпирающие ошибки оппонента — был бы не в рост поднятым проблемам. Вопросы — все очень принципиальные, а мы с единомышленниками уже год как готовили в СССР широкий по охвату самиздатский сборник статей «Из-под глыб» — да высылка моя сорвала общую работу, теперь сборник откладывался с месяца на месяц, как-то надо было кончать его сношениями через железо-занавесную границу, нелегко. Так обгонять ли «Из-под глыб» с его взвешенными глубокими формулировками — поспешной газетной полемикой, которая всегда обречена быть поверхностной? Скрепя сердце пришлось от немедленного публичного ответа Сахарову отказаться.

И когда 3-го мая журнал «Тайм» брал у меня интервью и прямо вызывал на ответ Сахарову — я ответил глухо, уклончиво. И, очевидно, зря: в западном сознании осталось, что Сахаров меня победно подшиб, как говорится, «один — ноль». Спустя полгода, в конце 1974, уже после «Из-под глыб», мой мягкий ответ Сахарову в «Континенте» — вовсе не был замечен: эмигрантский русский журнал не тянет против американской ведущей газеты, да уже многих западных газет.

Да хоть бы я ответил и в «Нью-Йорк таймс»? — тогда искрились надежды разрядки: с коммунизмом *можно* договориться, и надо, да он вовсе уже не коммунизм! — как раз по Сахарову. Из статьи его получалось, что мой счёт коммунизму — чрезмерен, необоснован, опоздан, я — не объективный свидетель того, что делается в СССР; ядро моего «Письма» и моё сомнение в абсолютном и безусловном благе Прогресса он изобразил как тягу к реставрации старины. С тех-то пор, вот с этой сахаровской статьи, с постоянными ссылками на неё, и пошло перетёком по Западу, что Солженицын — антидемократ и ретроград.

Но это я зашёл вперёд. А публикация «Письма вождям» произошла 3-го марта — и семьи моей ещё не было, и Аля по телефону настойчиво откладывала, и, можно было догадаться, не от вмешательства властей. А у меня была только сильно неустроенная полупустая трёхэтажная квартира, да ещё с неделю не почищенная, не запёртая калитка — и сам же Цюрих.

Цюрих — очень нравился мне. Какой-то и крепкий, и вместе с тем изящный город, особенно в нижней части, у реки и озера. Сколько прелести в готических зданиях, сколько накопленной человеческой отделки в улицах (иногда таких кривых и узких). Много трамваев; изгибами спускались они к при-

речной части города с нашего университетского холма, от мощных зданий университета. (А из прошлого знаю: столько российских революционеров тут учились, получали дипломы в передышках между своими разрушительными рынками на родину.)

Мне и усилий не надо было делать над собой: я уже весь переключился на ленинскую тему. Где б я ни брёл по Цюриху, ленинская тень так и висела надо мной. Сознательный поиск я начал с тех библиотек, где Ленин больше всего занимался: Церингерплац и Центральштелле (по многовековой устойчивости швейцарской жизни они, собственно, и не изменились). Во второй работал эмигрант-чех Мирослав Тучек, весьма социалистического направления, но мне сочувственно помогал. От него я получил и недавнюю книгу Вилли Гаучи, где было собрано всё о пребывании Ленина в Цюрихе, страниц 300 немецкого; получил домой, в подарок от автора, тут же и навалился. И, совершенно неожиданно! — знакомство с Фрицем Платтенем-младшим — трезвым сыном своего упоённого отца, того Платтена, который оформлял и прикрывал возврат Ленина через Германию в Россию, понёс его на своих крылах. Сын — уже не защищал отца, а объективно выяснял все скрытые обстоятельства того возврата. Дружески мы с ним сошлись (с удивлением я обнаруживал, как быстро восстанавливается мой немецкий). Бродил я и специально по ленинским местам, где он заседал в трактирчиках, как ликвидированный теперь «Кегельклуб», и сколько раз проходил по Шпигельгассе, где Ленин квартировал, и по Бельвю к озеру. А другие цюрихские впечатления наваливались на меня мимоходом, случайно, — но затем, с опозданием и в несколько месяцев, я догадывался, что это же прямо идёт в ленинские главы — как ярчайшая картина масленичного карнавала, или могила Бюхнера на Цюрихберге, или богатая всадница на прогулке там же.

Цюрихберг — лесистая овальная гора над Цюрихом, разумеется тщательно сохраняемая в чистоте, и тоже не первый век, место, куда Ленин с Крупской не раз забирались растянуться на траве, — начиналась своим подъёмом совсем близ моего дома, двести метров пройти до фуникулёра — милого открытого трамвайчика, круто-круто его втаскивал канат наверх, когда противоположный вагончик спускался. (Такое это было занятное зрелище, что я положил себе: вот приедут наши, повезу Ермошку показывать, ведь ему четвёртый год, он уже изрядно смышлён, вот удивится-то! Но поразительная жизнь: и приехали, и прожили там два года — так и не нашёл я момента в кружной жизни, свозил всех ребятишек кто-то вместо меня, может быть фрау Видмер, жена штаттпрезидента, мы очень с ними обоими сдружились: Зигмунд своими духовными свойствами и политическим пониманием стоял много выше сегодняшнего среднего западного человека, а фрау Элизабет была тепла, сердечно добра, проста, и привязалась к нашим ребятишкам, брала их то в зоопарк, то ещё куда, свои дети у неё уже были близки к женитбе.) Квартира-то наша была сильно достигаема шумом близких улиц, особенно от нынешнего завывания санитарных автобусов, тут рядом кантональный госпиталь, — а поднимаешься на Цюрихберг, минуешь последние дачи богачей — дальше такой лесной покой, и совсем мало гуляющих в будний день, я там отдышивался, раздумывал, закипали планы литературные, публицистические. (Не забуду встречи с пожилым швейцарцем, он тоже шёл один. Это было вскоре после моего приезда. Он изумился, повернул ко мне, обеими руками взял меня под локти, смотрел на меня с любовью, смотрел, и слёзы у него полились, сперва и говорить не мог. Надо знать сдержанных, жёстко замкнутых швейцарцев, чтоб удивиться: и что повернул без повода, и за руки взял, и плакал.)

Наконец, день прилёта наших прозначился: 29 марта. Солнечный, тёплый день, конечно и Хееб со мной. Опять было большое скопление прессы на аэродроме. К самолёту приставили лесенку, меня впустили. Вошёл, как в темноту, первым столкнулся с Митькой, обвешанным ручными сумками за всех, потом Аля передала мне Ермошку и Игната, они тарашились, Ермошка меня узнал, а полуторагодовалый Игнат просто покори́лся судьбе, я понёс их как

два пенька, Аля — корзину с шестимесячным Стёпкой. (Тогдашняя фотография стала из моих любимых.) За Алей шла бабушка. Чемоданов они привезли десяток, но это было, конечно, не главное, Аля успела шепнуть, что всё *существенное* не тут, пойдёт иначе. А на Шереметьевском аэродроме гебисты долго держали их багаж: фотографировали все третьестепенные бумажки, и, как потом оказалось, размагнитили и все наши аудиоплёнки, сколько интересных записей накопилось у нас за три года.

Покатили на Штапферштрассе, кортеж за нами, там толпа фотографов вывалила. Наша калитка уже запиралась — они, человек тридцать, кинулись в открытую калитку наших милых соседей, молодой пары, Гиги и Беаты Штехелин (их дома не было), и, ближе к нашему низкому заборчику — зверски теснясь и отталкивая друг друга, вмиг истоптали большую, излелеянную хозяевами цветочную клумбу. И это — европейцы? (Навредили б так русские, все бы: «во! во! русские только так и могут».) Я закричал на них, пытаюсь очнуть. Бесплезно. И — не отступил никто с клумбы, так и уничтожили её. Я изумлялся, до чего они надоедны, они изумлялись, до чего я горд. Измученных малышей мы спешили укладывать — они требовали, чтобы вся семья теперь вышла позировать на балкон. Невозможно, да на аэродроме уж нащёлкали без числа, я — отказал. Так и ещё, ещё утверживалась моя ссора с западной прессой — и надолго вперёд.

Зато: в одном самолёте с нашими прилетел из Москвы корреспондент Ассошиэтед Пресс Роджер Леддингтон. Аля тут же объяснила мне, что он — из самых самоотверженных спасателей архива, много унёс в карманах. Как же было избежать дать ему хоть маленькое интервью? А вопрос всё тот же: посещу ли я Соединённые Штаты? Америка продолжает ждать.

Между тем — приглашали меня и две подкомиссии американской Палаты Представителей, дать им показания. Взамен себя слал я им подробное письмо* с ответом: что я *не* полагаю разрядкой международной напряжённости: угодливые умолчания; сакраментальную веру в устные обещания правителей, никогда их не выполнявших; односторонние уступки; позднюю перетолковку договоров; заключение ничем не гарантированных перемирий; равнодушие к зверствам противной стороны. А под разрядкой *истинной* понимаю «такое *несомненно контролируемое* обезоруживание всех средств насилия и войны... которое делало бы каждый этап разрядки *практически необратимым*». Письмо моё было опубликовано в материалах Палаты Представителей, прорвалось отчасти в газеты, например, «Вашингтон пост». Примечание газеты было: «Мы сделали письмо Солженицына доступным американским обозревателям по советским делам, они охарактеризовали его взгляды как *упрощённые*». А желательный уровень *сложности* был: продолжать верить улыбкам и уступать односторонне...

Ещё и сенатор Мондейл (будущий вице-президент) добивался приехать ко мне в Цюрих — но не мог я всего вместить, уклонился.

А тут пришло письмо известного сенатора Джексона, сильно запоздавшее в пути (не по почте, он перемудрил с оказией). [9] И опять — приглашение, и опять — благодарю и отказываюсь. [10]

А тем временем всё притекали же и копились тысячи писем не столь известных людей, отвечать на них — да даже читать их — не было никаких сил. А на Западе привыкли, чтобы каждое учреждение и каждое лицо отвечало на каждое письмо: держи какую хочешь большую контору, пусть отвечают за тебя секретари — но отвечайте. Уже на меня обижались многие и в Швейцарии. Супруги Видмеры посоветовали мне отозваться через Швейцарское телеграфное агентство. Так я и сделал. [11]

Тут — не хватало ответа, который уже выпрашивали у меня швейцарские корреспонденты, который хотели слышать и все тут: по каким именно причи-

* «Публицистика», т. 2, стр. 78 — 80.

нам я избрал Швейцарию для своего жительства? И неловко было бы объяснить, как это получилось само собой. А говорить, что я давно пишу Ленина в Цюрихе, — преждевременно. И изо всех аргументов оставалось — традиционное сочувственное представление в России о Швейцарии да поразительная история, рассказанная Герценом в «Былом и думах» о силе той демократии, где община сильней президента.

Приезд детей поднимает сразу много вопросов. Митю — надо устроить в школу. Кстати, школа совсем рядом, на Штапферштрассе, — и школьники, видя из окон, как донимают нас корреспонденты, уже провели манифестацию с плакатами: «Оставьте Солженицына в покое!» Иду, подаю заявление. (Вослед начинают мне течь бумаги с методическими указаниями, советами.) Митя по уровню оказывается выше, чем школа ожидала, быстро схватывает и язык, ему становится легко, и он, по своему динамичному характеру, зорко использует также и либеральные щели в её распорядке, меня вызывают в школу объясняться.

А малыши? ведь они круглосуточно требуют Алю, им всё тут непривычно, смена резка; вот старшие растеребили пух из подушки по всему полу, младший плачет. Да у матери опережающая тревога: как детям в океане чужих языков не упустить свой, русский? ежедневно помногу читает им, целый чемодан привезла детских книг. Так Аля — полностью отдастся им, уже не будет сил не только для нашей работы, не только для ответов на дёргающий мир — но ни для какого домашнего устройства? а оно неперечислимо: неизвестный мир, неизвестные в нём предметы, неизвестные цены и нет языка! К счастью, приходит помощь в виде пожилой эмигрантки, живущей в Цюрихе, Ксении Фрис, она наставляет Алю по всем бытовым проблемам, и находит — чудо какое: в сердце Швейцарии одинокую простонародную, с самобытным русским языком русскую бабушку, закинутую судьбой сюда из Маньчжурии, когда в 1945 — 46 годах наша тамошняя (сибирская) эмиграция бежала от пришедших красных. И эта Екатерина Павловна, «баба Катя», в своей суровости проникается сердечной теплотой к нашим малышам, как если б вся её одинокая жизнь и была предназначением дожидаться вот этих крошек и холить их, и обучать простейшим навыкам жизни. А была бы нянька — иностранка (и все шансы были за то)?

Правда, жила она далеко за городом, у нас бывала только до полудня, но и то какая выручка. Остальное время малыши были с бабушкой и мамой. А продукты покупать? Тут уже Митя выручал, округу быстро освоив. На женщинах наших — всё хозяйство, да если б только! Ведь если *самим* сейчас не вычитать набор выходящего 2-го тома «Архипелага» (а через несколько месяцев и «Телёнка»), то книги выйдут с изрядными опечатками: у «Имки» нет средств держать корректора. Да уже и Митя много помогает маме: он бойко читает с подлинника вслух, со всеми запятыми, Аля правит по вёрстке. И вот — всё это вместе, перевари.

А малыши нуждаются не только в уходе, но и в зорком глазе. Ведь всего лишь год назад присылали нам гебисты угрожающие письма, стилизованные под уголовников, что расправятся с детьми, — и почему бы это была шутка? В числе доблестей чекистов Дзержинский не перечислял шутовности. Однако живя у Ростроповича в запретной зоне Барвихе, я на лыжах гонял часами по лесу — и знал, что никто меня не посмеет тронуть: ляжет несомненно на них. А здесь, за границей, уже из полиции двух стран предупредили меня, что у международных террористов — я на списке, да мне и так было ясно, Советы же и обучали и снабжали их. И теперь при любом похищении ребёнка ГБ и вовсе руки умоет: это — не наша страна, разбирайтесь сами. Пока беда не случилась — все скажут: пустые страхи, паранойя. А если случится (в XX ли веке не берут заложников?) — тогда только «ах! ах!». Правда, прогулки детей в город — или с фрау Видмер, или с дружной русской эмигрантской семьёй Банкулов, живущих под Цюрихом (нам посчастливилось познакомиться с ними через храм о. Александра Каргона), — прогулки начинаются не сразу, но и

наш крохотный дворик, где дети всё время, и мы устроили им разные забавы-горки, игровую площадку, — дворик-то просматривается с трёх сторон, и решётчатый заборчик всего по грудь, его перескочить ничего не стоит.

И перескакивали несколько раз. Какой-то фанатичный молодой человек сел на ступеньках нашего дома и объявил, что — никуда не уйдёт, что я — Иисус Христос, а он отныне будет проповедовать вместе со мной. И просидел на крыльце чуть не сутки, ни на чьи уговоры не поддаваясь, пока позвали полицейских, не пошёл и с ними, и они его мягко и бережно («права человека») вынесли на руках и отвезли подальше. — А то взяли нас в осаду несколько молодчиков, довольно бандитского вида, привезли и на руках держали, носили какое-то несчастное уродливое существо, взрослого карлика, сына из богатейшей латиноамериканской семьи: он желал встречи со мной, чтобы начать совместно писать книгу! — То, по недосмотру, была у нас не заперта и калитка и дверь — тотчас ворвалась в дом какая-то наглая советская баба и, не скрывая враждебности, развязно нам выговаривала. — То другая женщина, тоже с русским языком, настойчиво вызывала к калитке, не хотела бросить письмо просто в почтовый ящик; взяли — рукописное письмо, от кого же? от скандально знаменитого Виктора Луи. Он, простой советский человек, лежит в цюрихском госпитале, размышляет о смысле жизни; считает, что неприязности между нами теперь уже позади — и что же? раскаивается, как разыгрывал мою слепую тётю? как закладывал мою голову под советский топор? — о нет, пишет о своих собственных лагерных страданиях в прошлом, и чтоб я очистил его от обвинений, что он продал «Раковый корпус» на Запад; а теперь он не против бы встретиться со мной после выписки из госпиталя! — А сколько приезжали и стояли за заборчиком по грудь (всё в том же отворённом дворике соседа Гиги), и настойчиво звали меня. Среди них и очень, видать, искренние люди — и явно же подозрительные провокаторы, какие-то подставные фальшивые лица со смутными историями.

А ещё же приезжали посетители, с письменным заранее моим согласием или без, которых я приглашал беседовать в дом. Тут был и казачий вождь В. Глазков (я не сразу разобрался, что он сепаратист-казакиец: «Казакция» — отдельная от России страна). То, по созвучию, немецкий филолог Вольфганг Казак, сидевший в СССР в лагерях военнопленных, с тех пор вовлекшийся и в русский язык, затем и в русскую литературу. То — неугомонная Патриция Блейк, из ведущих американских журналисток, три года назад швырнувшая в мир, к нашему ужасу, подслушанную ею тайну, что есть такой «Архипелаг ГУЛАГ» и уже переводится на английский! Теперь она желала писать мою биографию. — И американские слависты. И та самая графиня Олсуфьева из Рима, о которой когда-то на Поварской сладко повествовали мне в Союзе писателей, — а теперь она приехала доказывать мне отзывами итальянских профессоров, что её за три месяца сделанный итальянский перевод «Архипелага» — превосходного качества. (А оказался — совсем плох.) И приезжали тщеславные эмигрантские пары, чтобы только отметить, что были у меня. А бывали — и самые славные старики, и с важными свидетельствами о прошлом, и надо бы плотно заняться ими, да нет времени.

Приезжал В. В. Орехов, редактор многолетнего (с 20-х годов) белогвардейского «Часового» (бессменная вахта, пока не дождёмся падения большевиков). В его письмах перед тем странные какие-то встречались намёки на нашу с ним никогда не бывшую переписку. Уж я думал — не тронулся ли он немного? Нисколько, приехал, уже за 70, с ясной головой и несклонимым духом, участник гражданской войны, капитан русской императорской армии. И показал мне... 2-3 письма *моих!* моим безусловно почерком, замечательно подделанные, и с моими выражениями (из других реальных писем), да не ленились лишний раз Бога призвать, и с большой буквы, — а никогда мною не писанные! Подивился я работе кагебистского отдела. А плели они эту переписку с 1972 года. Сперва я будто запрашивал у Орехова материалы по Первой мировой войне, и он мне слал их — куда же? а в Москву, на указанный адрес, за-

казными письмами с обратными уведомлениями — и уведомления возвращались к нему аккуратно, с «моей» подписью. Изумление? Да столько ли чекисты дурили! Затем, видимо для правдоподобности, «я» предложил ему сменить адрес — писать через Прагу, через какого-то профессора Несвадбу. Тот подтверждал получение писем Орехова. А в конце 1973, когда уже завертели полную «конспирацию», передали Орехову приглашение «от меня» встретиться нам в Праге, уже не для исторических материалов, а для выработки общего понимания и тактики. И Орехов абсолютно верил и лишь чуть-чуть почему-то не поехал — да тут меня выслали. Так — не состоялась ещё одна готовимая на меня петля: Орехова бы там схватили — и вот уже доказанная моя связь с белогвардейским заговором. Это был у ГБ, очевидно, запасной против меня вариант (да ещё один ли?).

Тут как раз брал интервью «Тайм», я дал им и эту публикацию, факсимиле «моего» почерка, поймал КГБ на подделке. [12] И урок: не надо такие случаи пропускать: эта публикация ещё сослужит защитную службу в будущем. Урок: что борьба с ГБ никогда не утихает, пока оно растёт на Земле чумною коростой, — и никогда нельзя позволить себе сложить руки.

Да ещё ж было одно место в Цюрихе — импозантная контора Хееба. Посещал я её раз-два в неделю, с деловитостью подшивали какие-то бумаги фрау Хееб, пожилая хрупкая дама, и юная секретарша, а неизменно важный Хееб в своём кабинете сидел за огромным письменным столом, тут и толстые своды швейцарских законов, — да и мне предлагал немало бумаг на главных языках Европы, а то и побочных, я сидел-потел, но все они были как-то не к делу: пустейшие поздравления, пустейшие приглашения, куда я ни за что не поеду, просьбы, просьбы о встрече, приёме, — да я и облегчён был, что всё пустое, не надо ещё на это время тратить. (И само собой — книги, книги в подарок, есть и вовсе лишние, куда их? только на наш чердак.) А если деньги мне нужны? — Хееб выписывал чек, он ведь распоряжался всем. И так не приходило мне даже в голову, что когда-то надо сесть, расспросить о *делах* — каких там ещё?

А вот и дело: говорит Хееб, надо мне ехать для судебного свидетельства. С чего это? Оказывается: лондонский издатель Флегон (тот самый, испортивший когда-то своим пиратским изданием «Круг» по-русски и проигравший суд за пиратское же английское издание «Августа», хороший друг Виктора Луи) — теперь так же пиратски издал первый том «Архипелага», «ИМКА-пресс» судится с ним, но раз я теперь на Западе — требуется и моё присоединение. Боже, как не хочется, как не до этого душе, только и рвущейся — начать бы писать. Но надо — так надо, в чужой монастырь со своим уставом не лезь. Едем, в цюрихский английский консулат. Какой-то чин садится со мной беседовать — теперь, конечно, по-английски, и давай перестраивай мозговые извилины с немецкого, Боже, как мучительно. Ну, кой-как моё мнение изложено, издания Флегона я не разрешал и протестую, теперь — приноси присягу на Библии. Приношу. (Стоило бы из-за чего другого! И безбожник Флегон в Лондоне охотно присягает.)

Проходит недели две — получаю из Лондона телеграмму от Флегона, что он такого-то числа явится для вручения мне судебного иска. Я и внимания не придал. Но в назначенный день — тёплый весенний день, появляется на Штапферштрассе некий подвижный человечек в чёрной шляпе и в чёрном же плаще-накидке, демонстративно длинном и с широким запахом, как ходили в Англии прошлого века может быть стряпчие, напоминает большую летучую мышь. На каменном столбике нашей калитки что-то наклеивает, возвращается на другую сторону улицы и стоит там. Выбежал Митя, вернулся, сообщает мне, что это, на английском языке, крупноразмерными, увеличенными буквами, вызов меня в Высший Суд Великобритании и с какой-то важной печатью. Первое наше движение — пусть Митя сорвёт прочь, да и всё. Но какой-то инстинкт почему-то подсказал мне — не срывать, чёрт с ним, пусть висит. Похожие останавливались, смотрели, удивлялись, шли дальше. Так и провисел до темноты. А Флегон-то, оказалось, все эти часы дежурил с фотоаппаратом — сфотографировать, как мы срываем, это и будет документально означать, что

я — принял повестку в английский суд, и теперь подпадаю под него. (Потом я узнал, что иски эти не разрешено посылать по почте, а только лично вручать. Но всё равно, английские газеты уже печатали: *издатель* «Архипелага» подал на *своего автора* — стало быть, недобросовестного — в суд. Подарок для ГБ. В каком-то скороспелом дерьме хотели меня измазать.)

Нет, решительно не хватало нам с Алеей времени для простого раздумья.

И в один из чудесных апрельских дней повёз я её фуникулёром этим самым на Цюрихберг, уселись мы в лесу на скамье, с видом на Цюрих далеко внизу, и стали отходить.

Не специально искали главную мысль или деловое решение, а просто отходили. Да к тому же — по-православному Страстная неделя шла, мы уже хаживали и в наш подвальный храмик, настроение очищенное.

Посидели часок — и поняли. Ведь была ж у меня уже года три назад идея, на том я тогда завещание построил (которое Бёлль заверял): $\frac{4}{5}$ ото всех моих гонораров отдать на общественные нужды, только пятую часть оставить для семьи. А в январе, вот только что, в разгар травли, я объявил публично, что гонорары «Архипелага» все отдаю в пользу эзков. Доход от «Архипелага» не считаю своим — он принадлежит самой России, а раньше всех — политэкам, нашему брату. Так вот — и пора, не откладывать! Помощь нужна не *когда-то там* — но как можно быстрее. Жёнам эзков — собирать передачи и ехать на свидания *сейчас*, дети эзков и старики-родители недоедают *сейчас*. А тем более, что у нас подготовка обсужена: прошлым летом в Тарусе встречался я с Аликом Гинзбургом и обговаривали мы с ним, как бы нам, вытягивая мою «нобелевскую» из-за границы, наладить денежную помощь в СССР политэкам и их семьям, дать им возможность выжить. (Да преследования в СССР и сверх арестов густились: у кого обыск, кого с работы уволили, так тоже без заработка.) И Алик брал на себя всё распределение, имея к тому и жар сердца, и виртуозные конспиративные способности, и великолепный организаторский талант. И уже о деталях сговаривались, я настоял, чтоб не следовать советско-образованской брезгливости, помогал бы он и по старой статье 58—1, так называемым «изменникам родине», куда лепили и простых пленников, да и все, кто ещё жив, сидят 30 лет. И тогда упиралось только: *как* же переводить деньги с Запада. (Лишь кой-кому из «невидимок» мы тогда исхитрились.) Так вот, теперь, когда мы здесь, — неужели не найдём способа? Уже нам объяснили здешние знающие, что лучше всего устроить Фонд, ему отначала и передать жертвуемые деньги.

В это двухчасовое сидение, в прозрачной ранней весенности, мы с Алеей всё и решили. Называться будет: Русский Общественный Фонд, отдадим ему все мировые гонорары с «Архипелага», это, наверно, и сложится под те $\frac{4}{5}$, а то и больше. Сперва — помощь экам, преследуемым, но не упускать и русскую культуру, и русское издательское дело, позже, может быть, и ещё какие-то восстановительные в России работы. Всё, начинаем действовать, утверждать Фонд! Через Хееба, разумеется, он тут всё понимает. А дальше — будем изобретать, *каким* же образом средства посылать.

И Бог споспешествовал нам: вот, познакомились с семьёй Банкулов. Виктор Сергеевич оказался в высшей степени рассудительным, деловым и душевно-надёжным человеком. Его первого мы посвятили в наш план, он принял большое участие, много верно советовал, затем стал и членом Правления Фонда. А уж всю конспирацию взяла на себя Аля, скрепляя звенья Невидимок, — эта цепь несколько не устарела, она ещё как нам пригодится!

А сложилось так, что почти в ту же неделю досталось нам с Алеей — и просто на ходу, с какой-то внезапной ясностью, ещё одно крупное жизненное решение принять.

Здесь — не дадут мне работать. Здесь — скрещенье всех европейских путей. Поток посетителей. Чтобы писать — приходится уезжать в горы, и без семьи. Искать в Швейцарии — глушь и переехать всем туда? А есть ли такая? (Спустя время Аля и ездила вместе с Банкулами на плоскогорье Юру, искать

там подходящее. Ничего не нашли.) А тогда — уезжать в другую страну? А — куда?

Странно. Встретила меня немецкая Швейцария изумительно, гордилась таким приобретением. И весь образцовый порядок этой страны как будто так соответствовал моей методической организованной натуре. Я искренне эту страну одобрял, всё преотлично. К тому же, когда-то учённый в детстве немецкий язык, пригожавшийся редко, для чтения книг, вдруг теперь счастливо прорвался во мне — и я оказался способен объясняться не только на бытовые темы, но даже и на отвлечённые, хотя за полчаса уставал. Очень мне это помогло в швейцарские годы. Так десятилетиями лежащий в нас груз вдруг оказывается бесполезен, как бы мудро задуман для какого-то этапа жизни, не пропадает заложенный в детстве труд.

А сердцу — не было покойно. Цюрих — исключительно красивый город. А идёшь по нему, сердцу — не хорошо, тоскливо. Да это — и не к Цюриху относилось: скорей, это было общее неприятие западного преизобилия и беспечности. Но — и нависание СССР над плечами.

А приехала Аля — и так же в короткие недели переняла то внешнее ощущение драконовых зубов, которое я испытал в Норвегии. Странно, что, живя в Союзе, мы никогда так не ощущали его нависающую силу, как сразу почувствовали здесь. И вот, в какой-то миг ясности, на мансарде только освоенной цюрихской квартиры, я высказал, и жена как будто приняла: что, ох, не удержимся мы здесь; как уже волны и волны наших эмигрантов — не потянемся ли через океан? (И — продолжали осваивать квартиру, вертикальную от подвала до чердака. Женщине — трудней эти вечные переезды. Аля ещё потом отшатывалась и усиленно сопротивлялась, не хотела за океан. Сию минуту ведь ничто не гнало из Европы, не так легко подниматься на новый переезд. Но того требовало протяжённое будущее.)

Так мы начинали жизнь в Цюрихе, уже сразу решив из него уезжать, хотя бы в Юру?

А если не в Европе — то куда?

Методом исключения — получились или Штаты, или Канада. Да ведь дётам и хорошо бы дать самый международный язык — английский.

А ещё же держала нас и назад тянула — задача защиты наших собственных арьергардов. Для людей, как-то связанных в прошлом со мной, и особенно для Угримова, всё ещё хранящего архивы, вот этот первый год после моей высылки и особенно первые месяцы были напряжённо-опасными, решающими: последует ли теперь разгром их всех или не тронут? Реальной силы защитить их у меня не было никакой, но ведь *реальной* силы не было у меня и все прошлые годы — однако же борьба прошла успешно. Пока советское правительство ещё продолжало меня бояться — а оно боялось меня! — я должен был всемерно показывать, что буду громко и сильно защищать каждого своего помощника, не дам им расправиться втихомолку. С волнением открывали мы приходящие из Москвы «левые» письма. Пока, неделя за неделей, все оставались нетронуты, хотя были наглые кагебистские звонки к Люше Чуковской. Затем узналось о преследованиях Эткинда (и надо было поддержать его, я написал защитное заявление и ещё раз напомнил о Суперфине). Море было прессы вокруг, а устойчивых приёмов, навыка, как же и где быстро и заметно напечатать, — у нас не было. И всё ещё не понимал я до конца, насколько Скандинавия — глухой угол, откуда плохо раздаётся по Западу: приехал как раз Пер Хегге — и я отдал ему для «Афтенпостен» статью*. И заглохли там мысли, которые надо бы разъяснить Западу всетелевизиюно: что подавление инакомыслящих в СССР помогает закрытости его, внезапности любого агрессивного шага, приближает войну больше, чем отодвигает мировая торговля. И нельзя превращать *разрядку* в поступенчатый Мюнхен.

* «Публицистика», т. 2, стр. 85 — 87.

Да не одна ж Скандинавия: не избежать мне было в первые месяцы объятий какой-то крупной телевизионной компании, да американской, конечно, — и я дал интервью CBS*. Они приехали к нам в дом шумной, технически оснащённой, крупной компанией, человек 10, за малой недостаточей: не было хороших переводчиков. И я тоже к этой встрече оказался плохо готов, не понимал, кто этот Кронкайт, какой он левый, и сколько подколок в его вопросах, — всё о западной медиа да моём отношении (уже все отметили его), да об эмиграции, да сами-то вопросы мне плохо переводил норвежец Хегге, а уж мои ответы на английский совсем сумбурно и неверно переводил Дэвид Флloyd, оба не переводчики, тем более не синхронные, — и Кронкайт меня не понимал.

Без надобности полез я и оценивать Третью эмиграцию: этично ли уезжать по отношению к остающимся? и хорошо ли, кто едет в Америку? и как о тех, кто едет в Израиль? не моё было дело в это вмешиваться, — но ещё понимали мы отъезжающих как недавних соотечественников, как *своих*, а рваная рана отрыва от родины пылала. И мысли были — как Гоголь когда-то написал: «Настал другой род спасенья. Не бежать на корабле из земли своей, спасая своё презренное земное имущество, но, спасая свою душу, не выходя вон из государства, должн всяк из нас спастись себя самого в самом сердце государства». (А привелось и ему годами жить в Италии...)

Тем временем вынужденная эмиграция — и через меня же! — коснулась столь близких нам Стивы Ростроповича и Гали Вишневской. Ведь никогда же бы их артистическая жизнь не пересеклась бы с каракатицей мерзкой, тускоглазой политики, если б не их широкодушный и дерзко отважный шаг — дать приют гонимому. И сколько ж за то унижений, подножек, насмешек, плевков пережили они в смрадном объёме советского Министерства Культуры, от угодливых прислужников его: их лишали концертов, не только заграничных, но и столичных, Ростроповича гнали ездить почти только по дальней провинции, Вишневскую вытесняли из любимого ею Большого театра, сколькокие прежние друзья отворачивались от них трусливо — после лет сиятельного успеха как им было больно, оскорбительно. Но уж года три они сносили все унижения, и ещё сколько-то бы продержались? однако после моего изгнания нажим на них стал ещё мстительней: отупевшие от злобы администраторы вместо того, чтоб теперь-то им помягчить, — прямо уже вытесняли их прочь и прочь из храмины советского искусства. И друзья наши не выдержали, согласились уехать. Так любовно устроенный ими дом в Жуковке с концертным залом, никогда не опробованным, и те все аллеи, где они дали мне вынашивать «Красное Колесо», а Але — Игната и Степана, — всё это брошено, дочери Оля и Лена оторваны от своего детства — и всей семьёй в четыре человека Ростроповичей понесло изгоняющим восточным ветром — куда-то в Европу, они сами ещё не знали куда. Да тут был для них не чужой мир, сколько раз они собирали тут жатву славы, сколько друзей тут у них, знакомых, и сколько сейчас полётса предложений, они были в положении, несравненно благоприятнее стольких эмигрантов, — однако от потери родины, без права вернуться, были в ошеломлении. В таком растерянном, смущённом, неприкреплённом состоянии они и посетили нас в Цюрихе. Улыбались — а горько, Стива пытался шутить, а невесело. В нашем травяном дворике сидели мы за столом до сумерок — никогда не примерещился бы такой финал, средь обступивших нас швейцарских особнячков, с высокими черепичными крышами, пять лет назад, когда они приютили меня в Жуковке.

А ещё в то лето дважды приезжал к нам В. Е. Максимов. Взяв эмиграционную визу почти день в день с моей высылкой, в начале февраля, он уже вот несколько месяцев в Европе, и осматривался и метался: как же приложить силы? Его тут знали мало. Он — не знал ни одного языка. Начать эмиграцию

* «Публицистика», т. 2, стр. 88 — 116.

с того, чтобы сесть и тихо писать следующий роман по-русски, — было не по нраву его, бурно-политическому, да и не давало перспективы: нуждался он в положении, и в средствах к жизни, приехал он с семьёй. Он задумал выпускать в Париже литературно-политический эмигрантский журнал, по карманному формату удобный для провоза в СССР. Но в Париже уже год восседал другой эмигрант — А. Д. Синявский, как писатель известный менее Максимова, но громкий на весь мир своим судебным процессом и уже создавший себе и в Сорбонне и в эмиграции почтительно-уважительное окружение. Итак, кандидата в главные редакторы было два, а создавать журнал не на что. Но Максимов, в отличие от Синявского искренний и горячий противник коммунизма, уже выглядел, кто бы мог дать деньги на подобный журнал — германский богатейший издатель правого направления Аксель Шпрингер, с его таким же искренним неприятием коммунизма. Однако чтобы Шпрингер дал на журнал деньги, весьма значительные, он должен был получить основательную рекомендацию, письменное поручительство, и Максимов не видел другой возможности, как от меня. С этим он и приехал в Цюрих.

С Максимовым я до того встречался лишь один раз: сидели мы с ним рядом в «Современнике» на спектакле. Отметно было — и вполне понятно мне — клочкотание гнева в его груди и против советского чиновничества и против литературных лизоблюдов. По повести его в «Тарусских страницах» видно было, что Максимов глубоко черпнул реальной жизни, да и лагерей коснулся, да и детство у него было беспризорное. В напряжении моих последних лет в СССР я успел прочесть две части из его «Семи дней творения» и нашёл их очень основательными, писатель без подделки и без самоукрасы.

Теперь — этот журнал? Что он будет непримирим к коммунизму — это не вызывало сомнений. Но всё ли — в том одном? А как он ляжет между эмиграциями? Уже отметно было, что Третья эмиграция отшатывается от Первой—Второй (да и против коммунизма никакой ретивости не проявляет). А сам Максимов проявлял тогда к *белым* холодность, а судьбу «остовцев» и военнопленных ему негде было перенять, ощутить. Безалаберно-неукладистая судьба вряд ли связала его душой с историческими и духовными традициями России. Так что надежда на него была, как говаривала моя Матрёна, — *горевая*. Именно *русскую* линию Максимов вряд ли удержит. Я так и сказал ему, в шутку: «Не рассчитываю и не настаиваю, чтобы вы защищали „Русь Святую“, но по крайней мере — не охаивайте её!» И всё же я представлял себе Максимова в русских сыновних чувствах определённое, чем он был. Да в тот год, все мы посвеже на Западе, ещё невозможно было вообразить уже близких трещин размежевания.

Но как не поддержать заведомо противобольшевицкое мероприятие? Только вот какую идею я ему предложил — в укрепление фундамента и смысла журнала — и он её воспринял и потом осуществил: этим журналом объединить силы всей Восточной Европы, чего более всего должны бояться на Старой Площади, дружного объединения восточноевропейских эмиграций. (В таком духе я потом послал и приветствие в их первый номер, впечатлевая это направление в рождаемый журнал. И само название подсказал: «Континент», а то Синявский уже предлагал Максиму собезьянничать с Кафки «Процесс».) И — написал Максиму требуемую бумагу, так и заложив помощь от Шпрингера.

Максимов был не один, с милой молодой женой. Уже в сумерки и в вечер засиделись по-русски за чаепитием у нас на первом этаже, а со второго что-то стал кричать Стёпка. Я оставил Алю с гостями, а сам пошёл его утишить. Было ему тогда месяцев девять. Взял его на руки, он сразу успокоился. Подержал его, положил — тут же опять кричит. Только взял на руки — он опять успокоился. И так вдруг — понравилось мне держать его на руках и прижимать, по-матерински. Как будто какая-то невидимая сила или радость переливалась то ли от меня к нему, то ли от него ко мне. И что мне идти туда вниз, за чаем

сидеть? Стал я тихо-медленно похаживать с сыном то по комнате, то выходил на балкон. Он посапливал счастливо. Начался тихий дождик. В соседней комнате смирно спали старшие дети. А я держал это сокровище, своего младшенького, — и думал о чуде продолжения жизни. (Он и Степаном-то назван вместо меня: я родился — на Степана, но мама хотела сделать меня Саней по только что умершему отцу; ныне я вернул долг.) И когда он ещё вырастет, при моей ли жизни? И кем станет? И насколько и в чём продолжит меня, комочек крохотный? мы с ним как союз какой-то заключили в тот вечер.

Но когда же, когда ж я начну снова работать? Ведь на родине писал, под всеми громами, до последнего дня, — а тут вот уже два месяца — и не могу? Задушили перепиской, заклевали вопросами, требованиями, визитами через калитку и окриками поверху заборчика.

Да главное: архива моего всё нет и нет. Хотя Аля уверена: отправка — самая надёжная, дойдёт!

Письма, большей частью иностранные, приходят к нам разбирать, сортировать (уже от чешской помощи отказались) то Аликс Фрис, дочка Ксеньи Павловны, то Мария Александровна Банкул. Даже физический объём этой переписки страшен, никаких комнат в нашей квартире скоро не хватит, а уж — по содержанию? у какого человека станет сил во всё это вникнуть? Изредка на какие-то вопиющие отвечаю.

А вот — приехали раз, и второй от НТС (Народно-Трудовой Союз, давние стойкие антибольшевики), этих нельзя не принять. А вот — вторым или третьим письмом добиваются встречи со мной деятели Международной Амнистии. Это и понятно: я стал известен как борец против тюрем и лагерей, — но и они же, они же? Однако я ещё из СССР, через западное вещание, понял: они ищут двугривенные только под фонарём, где их видно (западные страны, просвеченные информацией), а которые закатились в тоталитарный тёмный угол — тех и искать не будем. Просто — не ответил им ни разу (*объяснить* им — безнадежно), и не встретился никогда.

А между писем приходили же ещё книги, книги, только успевай распечатывать, упаковки в хлам, а книжки — на чердак, по крутой и тесной лестничушке. Чтó иностранцы шлют на языках — и не смотрю пока, времени нет, но — чтó русские? Когда спохватился, стал сортировать — названья частью слышанные, частью неслышанные, да и журналы целыми комплектами — «Белое дело», «Белый архив», «Первопоходник», — да в СССР никогда бы мне и глазами их не увидеть! Не успеваю осмыслить, объять, — а ведь у меня сами собой, без усилий, от доброжелательства и доверия ко мне старой Первой эмиграции, — собираются самонужнейшие и редкие книги, бесценная библиотека по российской революции (80% того, что нужно для «Красного Колеса», потом пойму). Так надо же дарителей благодарить! (А не всем, не всем ответил, иные так и скончались.)

Есть ещё одна, совсем не второстепенная подготовка к большой работе. Чего никогда б я не придумал в СССР, как и где добыть, заказали мы через милого соседа Гиги четыре серии разноцветных и разноформатных картонных папочек, размеров, которых и не делают нигде и не продают: 10×14 см (это — в предвидении многих картотек для исторических личностей времён начала века в России и 1917 года), 12×17 (для моих вымышленных персонажей) и 15×20 (для всех листочков по темам, по темам) — получилось и компактно, и такое цветное и гляцевое загляденье, и руками не нагладишься. Это теперь — на всю жизнь. А будет у меня — тысячи листиков, без этого — затеряешься; от правильной организации сотен и тысяч бумажек зависит и темп и успех такой обширной работы.

И наконец — наконец! — 16 апреля, на третий день православной Пасхи — не могли мы заранее угадать, в какой форме и через какого ангела это явится — подъехал к нашей калитке обычный легковой автомобиль немецкой марки, из него вышла молодая немецкая пара и выразила желание видеть меня. У нас был

сын Хееба, завёз какую-то почту, и при нём приезжий не назвал себя вслух, а протянул мне прочесть своё удостоверение, — теперь, наконец, я могу его и назвать: сотрудник германского министерства иностранных дел Петер Шёнфельд. Познакомил Алю и меня также и со своей женой Хильдегард и маленькой дочкой. И скромно передал нам два чемодана и сумку, всего — чуть не на пуд. Аля кинулась в другую комнату смотреть содержимое. Боже мой! — первая, но главная часть моего архива «Красного Колеса» — рукопись неоконченного (и нигде же не сдублированного!) «Октября Шестнадцатого», главных конвертов заготовок штук сорок и тетрадь «Дневника Р-17» — моего уже многолетнего дневника вокруг написания «Колеса». Готов я был Шёнфельда расцеловать! Ощущение Чуда: архив спасён из пасти Дракона, невидимо перепорхнул из-под его лапищ, через пол-Европы, — и вот теперь на наш стол, на наш диван! Ликование — не могу сопоставить равного: как выздоровление от рака!

С этого дня — можно было и начинать работу.

Можно — да нельзя. О, сколько же помех. Союз итальянских журналистов присудил мне премию «Золотое клише» (её вручали и пражской молодёжи за август 1968) и ждёт, когда я приеду получать. (Ехать? никуда не в силах. Но если они *сами* приедут в Цюрих — тогда... ну, тогда надо готовить речь.) — А в эмигрантской русской прессе разгорается жаркая дискуссия о моём «Письме вождям», теребят, чтоб я участвовал и отвечал на критику. — А Видмер звонит: вызывает меня президент Швейцарии, надо ехать, и он меня повезёт.

Эта поездка прошла в солнечный весёлый день. Разговаривали с Видмером не переставая — как я не устал, не знаю. А ехали из одного «ленинского» города в другой «ленинский», предчувствовал я победу над ним: вот, уж, напишу! А вот — проезжаем мимо подъёма на Зёренберг, где Инесса осенью 1916 отсиживалась, не желая встречаться с Лениным; если её описывать — подняться, посмотреть? (Уже посещал меня американский славист, рассказавший, что обнаружил: в те недели, когда для Ленина числилась она в Клара-не, — тут, в долине, нашёл в гостиничной регистрации и Арманд, и Зиновьева). Но нет, Инессу я не буду описывать.

Вот и Берн. И мы — у Фурглера. (В Швейцарии нет постоянного президента, это сменное дежурное лицо.) Фурглер встречает меня торжественно и, после короткой беседы, торжественно же объявляет, что мне, без испытательного срока, даётся *Niederlassungs-bewilligung* (разрешение на постоянное жительство). А мне стыдно-то как: ведь и Видмер не знает, что мы с Алей решили уезжать... (Вслед за тем цюрихская полиция выдаёт всей нашей семье швейцарские паспорта.) Ещё успеваем с Видмером посмотреть на характерный Берн, поднявшись сотнями ступеней на соборную башню, и оттуда глянуть на черепичное море крыш, на слитную стиснутую черепичность старого города, и готические сталагмиты на самом соборе. (Его построили в XV веке перед Реформацией. В решимости Швейцарской Реформации подчеркнуть, что истиной обладают все, — отдёрнули занавес алтаря и прихожан посадили в алтарь, лицами назад.)

А итальянские журналисты — ну конечно же согласились приехать в Цюрих, конечно, для них это вовсе не труд. В назначенный день сняли зал в здешней гостинице, мы приехали, ахнули: больше тридцати человек, да живые, подвижные, жадные поглядеть и послушать, и глаза и речь у них какие заряжённые. Расселись. Переводила Аликс Фрис, знающая итальянский как родной. Сперва один итальянец выступил, второй, вручили мне эту коробочку. Теперь — моя очередь отвечать. Говорю по фразе, останавливаюсь, Аликс переводит.

А приготовил-то я, оказывается, речь ого-го какую серьёзную*. Ещё находясь в состоянии неоконченного перелёта из одного мира в другой, ещё не усвоив ни точек отсчёта, ни реальных уровней, но уже и давимый нагромождением торжествующей западной материальности, заслонившим всякий дух, —

* «Публицистика», т. 1, стр. 195 — 198.

я, опережая догадками равномерный опыт, составил для итальянских журналов речь — вот уж не в коня корм. Мне казалось: пора подниматься в оценках на вершины — а ещё на изменности ничего не было разобрано! И журналисты бедные — угасали на глазах от мудрёных этих высот. После церемонии подошёл ко мне один молодой журналист попроще и едва не плачущим голосом спросил: «Ну, и что ж я из этого всего могу дать своим читателям? Вы поясней чего-нибудь не можете сказать?»

Удивительно: провалилась вся моя эта речь в глухоту, в немоту, как неслышанная и несказанная. Через четыре года её же, те же мысли сводя в тот же купол, произнёс я в Гарварде — она взорвалась на всю Америку и на весь мир. Очень неравно в западном мире — где именно произнести или печататься. И даже из рафинированных стран Европы, как Франция или Англия, в Америку проникает плохо. Но сказанное в немудрящей Америке — почему-то громко летит на весь мир. Анизотропная среда, как физики говорят.

А именно в Америку, даже за почётным гражданством, я в тот год и не поехал, сберегая время и простор себе для возобновления работы, наконец.

Неумело, разбросанно, нервно, в запуте прожил я на Западе свои первые месяцы, да и весь год сплошных ошибок, тактических и деловых. И утешенье было только: уезжать из этого Цюриха — да писать. Пытаться — писать.

Не самое лучшее место для уединения был Штерненберг: стояла дача Видмеров на узком гребне между двумя горными чашами, и с одной стороны к дому вплотную лепилась автомобильная дорога, правда с редким движением, а с другой, под самыми окнами, шла пешеходная тропа для осмотра красот, и каждую субботу-воскресенье и каждый праздник (а их, после СССР казалось мне, в Швейцарии поразительно много) шли и шли швейцарцы, в шерстяных чулках до колен, парами, компаниями, гурьбами, от стариков до школьных классов, — и не только мешали мне движеньем и разговорами, но и засматривали в окна. Чтоб не работать в жарких комнатах, устроил я стол под вишней — но и то место было под надзором тропы. А ещё это всё размещалось на альпийском лугу, и несколько раз в лето сгоняли меня шумом при косьбе, ворошении сена и уборке. Однако сельский труд добрых соседей своей разумностью и неутомимостью укреплял мир души, не мешало рабочее их движение, навозный полив лугов, обдающий крепким запахом, неумолкаемый звон коровьих колокольцев и даже шум трактора. А особенно светло действовал вид с высоты. В обзорном глядении сверху и далеко вниз, а особенно повторительном, ежедневном, ежеутреннем, есть что-то очищающее душу и просветляющее мысль. Простое стоянье и осмотр — уже есть работа души и ума. И облегчается задача оценить свою минувшую жизнь и преднаметить будущую. Одна чаша, удивительной красоты, сочетание круто спадающего луга, лесных клиньев и островков, извитых рабочих колеи, рабочих строений, была постоянно под моими глазами, лишь перевести вперёд с листа бумаги. А особенно удивительны были в этом вертикальном пейзаже игры туманных полос или обрубленных радуг. Ко второй объёмной, обширной чаше надо только дом обойти, это был пространственный швейцарский вид с далеко разбросанными хуторами как птичьими гнёздами. А прямо над нами, близко, сторожила манящая крутая высота, богатая для глаза (лазил туда я за год всего лишь раза три, один раз с о. Александром Шмеманом, нашли там дот швейцарской армии). Километрах в пяти высилась наибольшая тут вершина Хёрнли, в цепи других, не на много меньше. А кусок пешеходной тропы над ещё третьей, соседней, чашей был моим излюбленным «капитанским мостиком». Когда было не ждать гуляющих, я, по тюремному обычаю, ходил по этой тропе туда-сюда, туда-сюда, вбирая себе ясности и разума то от верхнего вида, то от нижнего — от горного прорыва в долину речёнки Тёсс, где иногда промелькивали вагончики поездов и каждый вечер светились одни и те же несколько неподвижных огней посёлка. Ещё особую игру этим трём чашам придавала луна, ежедневно изменяемая в форме и сдвигаемая по небу на час. И уж ни на что не похож был вечер 1 августа — швейцарской независимости, когда вспыхивает огромный

костёр на вершине Хёрнли и там и сям костры поменьше, горы перекликаются дрожащими огнями, а в долинах до полуночи хлопущи, стрельба. Стояла и так моя кровать в доме, что первый взгляд утра через распахнутое окно всегда был на дальние горы; глубина и высота видимых гор менялась от ясности прозора, но в лучшие чистые утра первооткрытыми глазами я видел сразу снеговые Альпы.

Отец Александр Шмеман провёл у меня тут чуть не трое суток. Это было первое наше свидание, после тех его великолепных радиопроповедей по «Свободе», которые я лавливал в СССР. Много-много переговорили мы тут с ним — о духовном, о положении православной Церкви, разбитости на течения; об историческом, о литературе (помню его острое замечание о внутренней порче Серебряного века: добро ли, зло, — «есть два пути, и всё равно, каким идти»). Много ходили по откосам. Помню, лежали на траве над одной из чаш — он закинулся в проект, как бы нам устроить свою русскую радиостанцию? (Поработал он на «Свободе» — слишком стала *не та и не то*.) О, ещё бы нет! Это было бы подейственной «Континента»! Да только кто же даст для русских десятки миллионов долларов?

День ото дня я в Штерненберге здоровел и телом и духом. И, спрашивается, как же *они* могли меня выслать? Сами устроили мне Ноев ковчег — переждать их потоп. (Сдали их нервы после сентябрьского встречного боя, после моей январской контратаки, и всё ж — на виду у Запада, а с Западом нужна разрядка, усумнились они в своём всемогуществе.) И вот теперь, в 55 лет, я смотрел, смотрел в эти три чаши: уже прокричал я правду о нашей послереволюционной истории — и удалось? и даже выше мечты? Из-под бетонных плит пробился слабенький стебелёк, и бетонная хватка могучего насилия не смогла его размозжить; и отравные испарения самой настойчивой в мире лжи не смогли задушить. С Божьего благословения — жизнь уже удалась.

Теперь заработал я и право заняться чистой литературой? И русской историей?

Всё ж, на «капитанском мостике», бодро вышагивал я разные проекты. И проект нашего окончательно решённого переезда в Канаду. И проект: устроить в Канаде Русский Университет? Я ещё не начинал знакомиться с русской эмиграцией, но любил её уже давней многолетней любовью, как хранительницу наших лучших традиций, знаний и надежд. Я годами воображал её большой человеческой силой, которая всё сбережёт и когда-нибудь исцеляющим вливанием отдастся нашей стране. И я — вышагивал и записывал проект Университета, у меня он так и сохранился. И факультеты. (Кроме широко гуманитарных, с отечественной традицией, непременно и — освоение пространств без гибели их, инженеры земли, и ведение народного хозяйства с западным опытом.) Уплотнённая программа, каникулы — месяц, хватит; а ещё месяц — работать для русского рассеянья. Стипендия, но для умеренного образа жизни. А потом бы — при университете открыть и русскую школу-десятилетку, с программами не оторванно-эмигрантскими, но и не искажённо-советскими. Я всеми мерами хотел бы укрепить будущих воспитанников, пробудить от западной убогостворённости, обратить к суровости родины. На это тоже хотел я положить деньги созданного мною Фонда.

Я ещё не представлял нынешней слабости эмиграции, её растёка этнического, что после шестидесяти лет *нету* тех слоёв, из которых бы набирать учеников, и никто так строго учиться не захочет, никто не примет на себя суровости добровольно. А по нынешним реальным силам эмиграции — можно бы набирать только из Третьей, однако не для того же безавшей из «этой страны», чтобы в неё вернуться.

Да и — денежно такого Университета не вытянуть.

В Штерненберге я сосредоточился писать — скорее убедиться, что эту способность не потерял в изгнании. Не так я много в это лето написал (отрывался, часто ездил в Цюрих, к Але, к семье) — Четвёртое Дополнение к «Телёнку», да начал «Невидимки».

И думал: ну всё, больше писать «Телёнка» не придётся: если писатель уже не бездомен, не должен гонять от чужого крова к чужому, рукописи свободно лежат в разных комнатах, в тревоге не прячутся при каждом стуке, и начало с концом можно сравнить на столе, а окончив — не надо зарывать в землю, — так, по советской мерке, *очерки литературной жизни* и кончились?? неудобно бы их и продолжать? Такую концовку я думал приставить после «Невидимок». О, не знаешь, что ждёт впереди. По западной мерке — опять вот *очерки* потекли, и совсем неожиданные, в новом направлении.

А снова за «Красное Колесо» не мог приняться — значит, сотрясение глубже, чем я сознавал. В растерянности то брался писать воспоминания о давних днях своей жизни, то повышенно много работал над случайной попутной публицистикой, да над письмом Собору Зарубежной Церкви*. К осени принимался за Ленина, тоже не очень сдвинул. Однако здешняя горная (почти — горная...) объёмность и мудрость быстро возвращали меня в рабочую форму и успокаивали, что писать я тут буду несколько не хуже, чем в России, — пока ещё налёживается во мне уплотнённый жизненный русский опыт.

А 27 июня героический — а для меня легендарный, я его до сих пор не видел — норвежец Нильс Удгорд, крупноростый, добрый, умный, с женой Ангеликой, привёз нам вторую часть архива. (Осенью пришла третья, последняя, и самая объёмная партия — от Вильяма Одома, через Соединённые Штаты. А мою «революционную» библиотеку перевёз Марио Корти. Так к октябрю я был собран весь.)

Удгорды поехали к нам в Штерненберг — и только там мы с Алей впервые узнали, как же был спасён и двигался архив «Красного Колеса», — о чём и в «Невидимках» (очерк 13) я умолчал, по тогдашней просьбе участников.

В том доверенном письме от Али 14 февраля 1974 было написано: «Прошу считать г. Нильса Удгорда моим полномочным представителем для сношений с **послом ФРГ в СССР**». И на следующее утро, 15 февраля, Удгорд написал на имя западногерманского посла Ульриха Зама (Sahm) письмо, по-английски: что говорил с женой Солженицына, та боится за сохранность архива и удастся ли его вывезти. По-видимому, западногерманское правительство помогло советскому отправить Солженицына за границу. Это возлагает на ФРГ моральное обязательство помочь ему. (И возможный объём архива был указан в письме: примерно два чемодана.)

Отлично это было нацелено и обосновано. Сам Ульрих Зам, хотя, вероятно, и сочувствовал мне (это он через Ростроповича тайно сговаривал нашу встречу с Гюнтером Грассом в Москве в сентябре 1973, потом испугался размаха травли, послал Грассу совет не приезжать, был публично им опозорен: «наш посол в Москве состоит на службе у германского или советского правительства?» — а не мог отвечать), — сочувствовал, но и: мог ли он действовать самостоятельно? да к тому ж, говорят, он был и личным другом Брандта. Удгорд не сомневается, что Зам запросил или хотя бы предупредил своё министерство иностранных дел.

Жена Удгорда Ангелика тотчас отвезла и отдала письмо дежурному чиновнику германского посольства. (Она — немка, Германия была и для Удгорда как бы второю родиной, очевидно, и в западногерманском посольстве знали их.) На тот же вечер Удгорд получил приглашение присутствовать на концерте посольского хора, устроенном на дому у советника посольства — третьего по значению в посольстве лица. Приёмы опытных дипломатов! — советник ни во что посвящён не был. Ему было поручено только: пригласить этого скандинавского корреспондента и дать ему прочесть странную, без обращения и без подписи, записку посла (после чего вернуть её автору):

* «Публицистика», т. 1, стр. 199 — 214.

1. Согласен.
2. Только два чемодана.
3. Только через начальника и его заместителя.

— Вы понимаете? — спросил советник.

Удгорд кивнул.

Так — архив «Красного Колеса», революции, все события которой потянулись от той безрассудной, взаимно пагубной войны с Германией, — именно Германия мне и спасла!

Так — незабываемо мы теперь побеседовали «не под потолками», и вернулись в Цюрих, где уже могли быть «потолки».

И что ж? — теперь-то и засесть писать? Э, нет! Э, нет. Тряска и дёрганье продолжались всё лето.

Вдруг, в июне, сообщают мне по телефону, что в Женеве на территории ООН властями её запрещена продажа французского и английского «Архипелага» — как книги, «оскорбляющей одного из членов ООН». Очень громко можно было вмешаться, в таких случаях рука моя сразу тянется к бумаге, и черновик заявления готов через 10 минут: «Генеральному секретарю Вальдхайму. Считаете ли вы предосудительным оскорбить правительство и допустимым оскорбить целый народ? Я ждал бы, что ООН не запретит эту книгу, а поставит её на обсуждение Ассамблеи. Среди обсуждаемых ею вопросов не часто встречается уничтожение 40 — 45 миллионов человек». Но... Нет. Невозможно дёргаться по каждому случаю. Надо научаться и молчать. Протечёт как-то без меня. Не самому автору книги защищать её. Смолчал. И протекло — печатали газеты, как-то компромиссно исправилось потом.

Летом — получаю частное письмо из Израиля: караул! почему так дорого продаётся русский «Архипелаг», недоступно купить. Да что такое, да ведь я же всем издателям поставил условие низкой продажной цены! чтобы весь мир читал! Но вишь — транспортировки, какие-то торговые наценки, прибыли книжных продавцов, — и вот книга опять дорога. В горячности шлю письмо в израильские газеты. [13] Книжные торговцы там очень возбудились, по своим расчётам они оказывались правы, и хотели в суд на меня подавать (антисемитизм!), да удержало общее моё положение первого года.

И тогда же, в конце лета, узналось про случай с рязанкой Светланой Шрамко, — благодаря её редкой настойчивости прорвалось, а то ведь из Рязани и знать не дашь, всё глухо. Протестовала она против той самой отравы от завода искусственного волокна, которая невидимым сладковатым шлейфом травила целую полосу города, и меня тоже — в моём ближнем сквере и через форточку в квартире. Но я вот не протестовал — а она, безвестная, беззащитная, — посмела! Как было мне теперь не подать ей помощи своим голосом? Послал письмо в «Нью-Йорк таймс»*. Там ещё долго перебирали, больше месяца не печатали — а когда и напечатали, так что? Помогло ли это Светлане хоть чуть? И что с ней будет дальше? Долго мы этого не узнаем или даже никогда..."

А тут — Ростропович, с обычной стремительностью, привёз ко мне австрийского кардинала Кёнига. Зачем? В чинной беседе кардинал объясняет мне неизбежность союза моего с католической Церковью в борьбе против коммунизма. Еле отдышиваюсь: да отпустите ж душеньку, не могу я разорваться.

А тут — после интервью CBS неудачливый в нём переводчик Дэвид Флойд, корреспондент «Дейли телеграф», стал теперь писать мне, и приезжал — и говорил, что другой мечты в своей жизни не имеет, как переехать бы ко мне и стать моим секретарём. Я отклонил. Тут он стал уговаривать встре-

* «Публицистика», т. 2, стр. 123 — 124.

** В 1991 узнал, письмо от неё: много мучили её, много преследовали, а уцелела. (Примеч. 1993.)

титься с польским эмигрантом Леопольдом Лабедзем, который жаждет создать Международный Трибунал, судить советских вождей.

Я уже пробыл в изгнании с полгода и понимал, что, при всей моральной правоте и заманчивости такого Трибунала, его невозможно создать вопреки силам, ветрам, течению истории: в отличие от нацизма — никто никогда не будет судить коммунизм, а значит, не собрать ни обвинителей, ни суда. Всё это мне было уже понятно — но имел я слабость согласиться на встречу: так трудно привыкнуть к полной свободе жизни и усвоить золотое правило всякой свободы: стараться как можно меньше пользоваться ею.

Встретились. (Флойд настоял присутствовать непременно.) Поговорили впустую. Сколько мог, я убеждал Лабедзя, что — не созрело, нековременно, сил не собрать, опозоримся. А он — горел, и хотел меня видеть в главных организаторах и приглашителях. Я не согласился.

Разъехались ни на чём. Прошло месяца полтора — вдруг в западногерманском «Шпигеле» сообщение: высланный с родины Солженицын не хочет удовлетвориться только писанием книг, а хочет — непосредственно делать политику, для этого он организует Международный Трибунал *против своей родины* (!), Советского Союза. Солженицын планирует открытый показательный процесс от Ленина и, возможно, до Брежнева. Обсуждения состава уже начаты. Нобелевский лауреат имел свою самобытную идею: предоставить судейские места только пылким противникам режима, — но оставил её не в последнюю очередь под благодетельным влиянием своей супруги Наташи Дмитриевны.

Я — как ужаленный: ну что за гадство? Ну, что такое эта пресса? Ну как можно жить среди этих чудовищ: ни слова правды! и почему такой трибунал был бы «против своей родины» (чисто советская формулировка)? и при чём тут жена, её и при беседе не было?

С меньшей вероятностью допускаю, что истекло от Лабедзя, с большей — что от Флойда. Но не с ними мне разбираться, а как раньше «Штерн» мне плюнул в лицо, так теперь «Шпигель», два сапога пара. Мне — досадно, мне — позорно: и — невыполнимая же затея, и — разве этим я сейчас занят, разве не к одному писанию лежит душа? Но теряю время, теряю спокойствие — теперь надо отмываться, оправдываться. Прошу Хееба написать в «Шпигель» протест, требовать опровержения. Он пишет что-то маловыразительное. Через день же с искровой быстротой приходит ответ ему от главного редактора Рудольфа Аугштайна: «Мы в состоянии доказать перед судом, что ваш мандант проводил такие собеседования, которые не могли остаться тайными и представляют мировой интерес. И никогда мы не сделаем опровержения тому, что считаем истинным. Спор об этом не послужил бы на пользу Вашему манданту и самому делу. Мы не видим основания для гнева Вашего манданта, тем более, что он уже совершал тяжелейшие ошибки, даже такие, которые могли быть без труда избегнуты». Не понимаю, о чём и говорит, но тон угрозы по грубости — не легче советского. «Мы не разрешим Вашему манданту диктовать нам, что правда, а что неправда».

Даже нельзя понять источник такой накопленной ненависти — что я им сделал? чем поперёк дороги? И вот что ж — хоть иди на суд! Готов. Хоть с этого начинай западную жизнь, тьфу!

Написал резкий ему ответ, доводя до самой грани столкновения. [14]

И редактор Р. Аугштайн очнулся (может — проверил своего информанта, а тот попятился) — и в следующем номере «Шпигеля», явно отступая, напечатал моё письмо — и в русской копии и в немецком переводе, — таким образом, всё было сказано моим языком и в самых сильных выражениях. (Сохраняя лицо, он добавлял, что если я буду требовать опровержения — а теперь зачем? — то он «сделает соответствующие шаги».) При моей неспособности вести тяжбу, найти время — я считаю, что этот конфликт кончился очень благополучно. А мог бы ещё сколько помотать душу, совсем отрывая от работы.

Этот конфликт я выиграл, можно сказать — по неопытности: я ещё не понимал, как, от небывалой обретенной свободы, вполне можно сбиться и на суды. Вскоре за тем получив сведения, что в Италии готовится публикация моих фронтовых писем к первой жене (они все остались у неё), и даже факсимильная, и не считаясь, что я жив, — я неосторожно дёрнулся к суду, привёл в движение адвоката. Но первичный итальянский суд признал, что печатать письма без разрешения — можно! Адвокаты заманивали меня вести юридический процесс дальше — но тут я очнулся. В моём положении проще заявить вслух и не судиться. [15] (От этой публикации отказались ли все издатели, или само КГБ потом: в моих письмах слишком многое свидетельствовало и в мою пользу, а гебистам нужен был эффект односторонний.)

Когда же вышло в свет «Стремя „Тихого Дона”» — удивляюсь, почему Шолохов (Советы) не подал на меня в суд за моё откровенное предисловие к той книге. Советские — любят такой приём, западные суды открыты для любого иска, и потянулось бы, и потянулось на много лет (а у КГБ денег хватает).

Конечно, эти все мои колебания между страстью тихого писания и страстью к политическим выпадам — они в моём темпераменте, без того я не попал бы на такие разрывы. И всё же я считаю, что я на Западе справился, не поддался политическому водовороту. (Впрочем — это скорей по инстинкту, а я тогда ещё не соразмерял ясно, насколько ничтожны физические силы наши и объём времени — против всего Несделанного.)

Тем летом утверждался в Берне созданный мною Фонд, всё это шло через Хееба, я и поселе не имел времени вникнуть в его действия. Сперва — благополучно и быстро утвердили, и название: «Русский Общественный Фонд». Но вскоре, видимо, чьи-то чиновничьи души зажал страх: ведь такое название — это не вызов ли Советскому Союзу? не намёк ли здесь, что русские общественные дела текут как-то помимо советского правительства? Нет, название недопустимо. «Фонд помощи политзаключённым», предложили мы. — Ни в коем случае! Слово «политический» неприемлемо для нейтральной Швейцарии. И потянулась торговля. Кое-как убедили мы, пусть так: «Русский Общественный Фонд помощи преследуемым и их семьям». (Название обрезало культурные и созидательные задачи Фонда, но в Уставе они есть. Пока сидим за границей — пусть звучит так, что поделаться?)

К осени — всё же потекла у меня работа в Штерненберге. Радость какая, я больше всего и боялся: а вдруг за границей — да не смогу писать?

Не тут-то было! В сентябре 1974 Владимир Максимов звонит мне тревожно в Цюрих. Передатный звонок Али застиг меня в Штерненберге в тихий осенний день, когда так хорошо работается, — просит моего заступничества Сахарову: Жорес в Стокгольме назвал Сахарова «едва ли не поджигателем войны» и возражал против Нобелевской премии мира ему. На свой личный бы ответ Максимов не полагается, а, мол, только мой голос может быть услышан и т. д. Как всегда в таких поспешных нервных передачах и нервных просьбах отсутствует прямая достоверность, отсутствует текст, стенограмма — да где и когда их добудешь? — а вот надо протестовать! помогите! ответьте! за смысл — мы ручаемся! (А всё вздул стокгольмский член НТС, и вполне возможно, что с перекосом.)

Ах, как больно отрываться от работы! Но и — кто же защитит Сахарова, правда? Какой низкий укус! После прежних подножек Сахарову от братьев Медведевых — сразу верится, что и эта — произошла, так. В действиях этих братьев, правда, — элементы спектакля. Рой остался в Союзе как полулегальный вождь «марксистской оппозиции», более умелый в атаке на врагов режима, чем сам режим; а Жорес, только недавно столь яркий оппозиционер и преследуемый (и нами всеми защищаемый), — вдруг уехал за границу «в научную командировку» (вскоре за скандальным таким же отъездом Чалидзе, с того же высшего одобрения), вослед лишён советского паспорта — и остался тут как независимое лицо; помогает своему братцу захватывать западное внимание, западный издательский рынок, издавать с ним общий журнал и сво-

бодно проводить на Западе акции, которые вполне же угодны и советскому правительству. Да братья Медведевы действовали естественно коммунистично, в искренней верности идеологии и своему отцу-коммунисту, погибшему в НКВД: от социалистической секции советского диссидентства выдвинуть аванпост в Европу, иметь тут свой рупор и искать контактов с подходящими слоями западного коммунизма.

Роя я почти не знал, видел дважды мельком: при поразительном его внешнем сходстве с братом он, однако, был несимпатичен, а Жорес весьма симпатичен, да совсем и не такой фанатик идеологии, она если и гнездилась в нём, то оклубливалась либерализмом. Летом 1964 я прочёл самиздатские его очерки по генетике (история разгула Лысенки) и был восхищён. Тогда напечатали против него грозную газетную статью — я написал письмо ему в поддержку, убеждал и «Новый мир» отважиться печатать его очерки. При знакомстве он произвёл самое приятное впечатление; тут же он помог мне восстановить связь с Тимофеевым-Ресовским, моим бутырским сокамерником; ему — Жорес помогал достойно получить заграничную генетическую медаль; моим рязанским знакомым для их безнадежно больной девочки — с изощрённой находчивостью добыл новое редкое западное лекарство, чем расположил меня очень; он же любезно пытался помочь мне переехать в Обнинск; он же свёл меня с западными корреспондентами — сперва с норвежцем Хегге, потом с американцами Смитом и Кайзером (одалжая, впрочем, обе стороны сразу). И уже настолько я ему доверял, что давал на пересъёмку чуть ли не «Круг-96», правда, в моём присутствии. И всё же не настолько доверял, и в момент провала моего архива отклонил его горячие предложения помогать что-нибудь прятать. Ещё больше я его полюбил после того, как он ни за что пострадал в психушке*. Защищал и он меня статьёй в «Нью-Йорк таймс» по поводу моего бракоразводного процесса, заторможенного КГБ. А когда, перед отъездом за границу, он показал мне свою новонаписанную книгу «10 лет „Ивана Денисовича“», он вёз её печатать в Европу, — то, хотя книга не была ценна, кроме как ему самому, — я не имел твёрдости запретить ему её. (Вероятно, допускаю, я тут сказал ему какое-то резкое слово о Зильберберге, что знать его не знал, и не поручусь, что это за личность, — Жорес грубо вывел его в книге так, что Зильберберг будто сам навёл на мой архив и тем заработал отъезд за границу, я никогда такого не предполагал, — но затем Жоресу пришлось в Англии выдержать стычки с Зильбербергом, смягчать текст, а пожалуй всем тем — и подтолкнуть Зильберберга на его пакостное сочинение.) И наши общие фотографии Жорес спешил печатать, и мои письма к нему, и приглашенный билет на нобелевскую церемонию, с подробным планом, как найти нашу московскую квартиру, потерял голову от западной беспечности сразу.

Затем вскоре стали приходиться от Жореса новости удивительные, да прямо по русскоязычным передачам, я сам же в Рождестве-на-Истье прямыми ушами и слушал. То, по поводу сцены отобрания у него советского паспорта, ответил корреспонденту по-русски, я слышал его голос, на вопрос о *режиме*, господствующем в СССР: «У нас не *режим*, а такое же правительство, как в других странах, и оно правит нами при помощи конституции». Я у себя в Рождестве заёрзал, обомлел: чудовищно! самое прямое и открытое предательство всех нас!!! То он сравнивал Сахарова (опаснейше для последнего) с танком, ищущим помощи западных правительств. Тогда вскоре, осенью 1973, я имел оказию отправить ему письмо по «левой» в Лондон и отправил, негодующее. (Признаться, я не знал тогда, а надо бы смягчить на то: у Жореса остался в СССР сын, притом в уголовном лагере.)

Переселился я на Запад — Жорес из первых стал называться приехать в Цюрих и даже в первые дни, — продолжать внешнюю иллюзию нашей друж-

* «Публицистика», т. 2, стр. 39 — 40.

бы? она очень запутывала европейцев, смазывала все грани. Я отклонил. Личные отношения не возобновились. И вот — теперь он напал на Сахарова.

И я — ввергаюсь ещё в одну передрагу: написать газетный ответ Жоресу на не слышанное и не читанное мною выступление — а значит, осторожнее выбирая выражения*. Только потому я писал не колеблясь, что знал, в какую сторону Жорес эволюционировал все эти месяцы.

А всё тот же угодник Флloyd (ещё не заподозренный, это — до «Шпигеля») берётся поместить в «Таймс». Я пишу в Штерненберге, Аля шлёт телефонами в Лондон — проходит день, второй, третий — что-то застряло, новые волнения, новые перезвоны, вдруг заявление появляется в «Дейли телеграф» в ослабленном, искажённом виде, — значит, уже в «Таймсе» не будет, почему? «Таймс» опасается слишком прямых выражений о Ж. Медведеве, которые могут быть опротестованы через суд.

И надо сказать, что «Таймс» почувствовал верно. Жорес и через норвежскую «Афтенпостен» и прямо мне отвечал: что при его выступлении не было ни магнитной, ни стенографической записи, дословно он не говорил так, как ему приписывается, но даже и в приписываемом нет «вклада Сахарова в дело разжигания войны» — как я написал в статье на основе взбалмошной информации от Максимова. Так что, по западным правилам, Жорес вполне мог и судиться. Но правоты-то всё равно за ним не было, и он не решился. Да ведь так же он и отрицал, будто говорил для радио: «у нас в СССР не режим, а такое же правительство, и управляет нами на основе конституции», — но я-то слышал своими ушами!

Вот в таких издёргах проходит первое лето на Западе, я выкраиваю себе недели поработать в горах — и не догадываюсь, что тем временем адвокат Хееб всё безнадежнее запутывает мои дела, — мне невдомёк поинтересоваться и доспроситься. Тем временем на английском, на итальянском, на испанском, не говоря о греческом, турецком и других, неумелые переводческие перья безнадежно портят или испакощивают мои книги — а мне этой проблемой некогда заняться: п е р е в о д ы? А что ж для писателя в моём положении важнее? Настолько ещё я не осознался, не умерился, что тороплю немецкий и английский стихотворные переводы «Прусских ночей», хотя уже ясно, что ни ритма, ни рифм соблюсти в них не берутся — это будет непрочитываемая каша, неуклюжая поделка, — ну зачем бы мне спешить? Отчего не отложить на пять, на десять лет? Разгон! Не в тех темпах живу.

Ещё неожиданностью для меня было, какую бурю вызвало «Письмо вождем» в образованщине: и понимал я, и всё ещё не понимал глубину начавшегося раскола в отечественном обществе. «Письмо» моё бранили резко, страстно — и это было для меня свидетельством, что я сделал ход важнее, чем и сам думал, коснулся коренного. В самиздате составляли даже сборник критических статей, не знаю, печатали ли его когда-нибудь.

И в эмигрантской прессе шёл о «Письме» напряжённый спор, были и за, и против. Так же неожиданно для меня выступил М. Михайлов, которого я не привык и считать участником русской жизни, но — «нашим» преследуемым союзником в Югославии, издали. А вот понятие «наши» сильно менялось и дробилось — и Михайлов меня поразил просвечивающим сочувствием к марксизму (защищал от меня чистоту этой идеологии) и к эсерству. И «Письмо» моё объявлял антихристианским и антирусским (до сих пор обвиняли: слишком русское и православное). И Михайлов берётся теперь «отделить художника от идеолога» (старая советская кирпотинская песенка); и всё это выносятся из Сербии на мировую арену почти неправдоподобным тоном: «ну, так раз и навсегда надо — (Солженицыну и его читателям) — уяснить вот что», «Солженицыну не дано осмыслить собственный опыт», «ну что ж, придётся просто

* «Публицистика», т. 2, стр. 125 — 127.

повторить то, что для европейской юридической мысли давно уже стало аксиомой... И ещё более поразил *приёмами*, которыми ведётся дискуссия: неоднократно подставляется вместо меня Владимир Осипов, а затем (ленинская ухватка) все его мысли валятся на меня вместе с «прокитайскими группировками, итальянскими неонацистами, эмигрантами-монархистами», и «Солженицын повторяет грех Ленина», и «Письмо» состоит из тех же частей, что «Коммунистический Манифест». И чутко развивая намёк Сахарова: «Найдутся последователи и договорят, что Солженицын удержал про себя»...

О-го-го, какие же рогатые вырастают из главных отважных диссидентов!

А в начале октября вышел 1-й номер «Континента» — я вскипел от развязно-шегольской статьи Синявского, от его «России-Суки». Увидел в том (и верно) рождение целого направления, злобного к России, — надо вовремя ответить, не для эмиграции, для читателей в России, ещё связь не была порвана, — и вот, сохранился у меня черновик, писал:

«Реплика в Самиздат. Как сердце чувствовало, оговорился я в приветствии „Континенту“: „пожелания нередко превосходят то, что сбывается на самом деле“. Пришёл № 1. И читаем: „РОССИЯ-СУКА, ТЫ ОТВЕТИШЬ И ЗА ЭТО...“ Речь идёт о препятствиях массовому выезду евреев из СССР, и контекст не указывает на отклонение автора, Абрама Терца, от этой интонации. 10-летнее гражданское молчание прервано им вот для такого плеска. Даже у блатных, почти четвероногих по своей психологии, существует культ матери. У Терца — нет. Вся напряжённая, нервная, острая его статья посвящена разоблачению „их“, а не „нас“, — направление бесплодное, никогда в истории не давшее положительного. Абрам Терц справедливо настаивает, что русский народ должен видеть свою долю вины (он пишет — *всю* вину) в происшедшем за 60 лет, — но для себя и своих друзей не чувствует применимости этого закона. Третьей эмиграции, уехавшей из страны в пору наименьшей личной опасности (по сравнению с Первой и Второй), уроженцам России, кто сами (комсоргами, активистами), а то отцы их и деды, достаточно вложились уничтожением и ненавистью в советский процесс, пристойней было бы думать, как мы ответим перед Россией, а не Россия перед нами. А не плескаться помоями в её притерпевшееся лицо. Мне стыдно, что идея журнала Восточной Европы использована нахлынувшими советскими эмигрантами для взрыва сердитости, прежде таимой по условиям осторожности. Мы должны раскаиваться за Россию как за „нас“ — иначе мы уже не Россия».

Не помню почему, но в Самиздат, в СССР, не послал. Вероятно потому, что подобное предстояло вскоре сказать при выпуске «Из-под глыб».

Но вот так — характерно чётко, уже на первых шагах, прорисовалась пишущая часть Третьей эмиграции, — и куда ж ей хлынуть, как не в открывшийся «Континент»? В следующие два-три года он станет престижным пространством для их честолюбивого скученья, гула, размаха рук (и для такого, что невозможно тиснуть в первоэмигрантских изданиях). Впрочем, противобольшевицкую линию Максимов выдерживал вполне.

За август я преодолел опасную отвычку, отклон от «Колеса»: ведь с бурной осени 1973, в нарастающей тряске, я уже не работал с полной отдачей. В Штерненберге постепенно устоялось душевное настроение и мысли. Взял недоконченный «Октябрь», теперь так обогащённый цюрихскими ленинскими подробностями, это собралось замечательно (и детали о цюрихских социалистах, и даже метеосводки по Цюриху за любой день октября 1916 или февраля 1917, не надо придумывать погоду), — так уткнулся в новую трудность. В предыдущие годы, планируя «Колесо» по Узлам и стремясь скорей прорваться к Февральской революции, я решил пропустить весьма-таки узловый, «узельный» август 1915: с катастрофическим отступлением русской армии, созданием буйного Прогрессивного Блока, его яростной атакой на правительство, уступательной перетасовкой министров и мучительным переёмом Верховного Главнокомандования царём, да там же и Циммервальдская конференция. А теперь, в октябре 1916, допущенный мною пропуск сильно давал себя знать: требовал вставки многих ретроспекций, и настолько сильно требовал, что я

кардинально заколебался: да не вставить ли «Август Пятнадцатого»? Но стал смерять, сколько же других — исторических и личных — линий придётся перестраивать? нет, это ещё худший разлом. Остался при прежнем плане Узлов — и теперь готов был уверенно вести в «Октябре» ленинскую линию. А число возможных глав о Ленине теперь нарастало лавиной. (Увы, уже не существует тот ресторанчик «Штюсихоф», где заседал ленинский «Кегельклуб», — ищем с Алей сходный другой ресторан, с такими же фонарями на деревянных столбах.)

Наконец осенью, после Штерненберга, мне кажется, что мы с женой заработали право четыре дня поехать по Швейцарии. Маленькая Швейцария, а для нас как огромная, мы нигде ещё не были, кроме той моей поездки с Видмером к президенту Фурглери.

По ровной части маршрута — опять на Берн, большой дорогой, затем на Лозанну и Женеву — мы поехали с Алей вдвоём, с тем, что потом, через горы, нас поведёт Видмер. Переезд во французскую Швейцарию прошёлся по сердцу мягкостью: сразу как отвалилась та нахохленная чопорность, которую в Цюрихе мы уже и не замечали. Округаерна и округа Женева — как две разные страны, трудно поверить, что они в одном государстве. Женева — чем-то умягчает сердце изгнанника, вероятно не так тяжело переживать здесь и годы. Поехали мы путешествовать, а головы были полны покинутыми заботами, и путешествие не казалось приятной реальностью, но какой-то сон. И в Лозанне, в приозёрном парке, бродили, как не понимая, будто ещё не совсем придя в себя от перелёта из Москвы, наши мысли и привычки не успевали за передвижением тел. Да все эти восемь месяцев мы как будто ещё и не жили нигде, ни к чему не прикрепясь, — а вот уже за океан собирались.

В Монтрё, на восточном берегу Женевского озера, почти на ощупь мы попали к замку Шильонского узника. Туда, после закрытия решётчатых ворот, не пустили бы нас — но немецкие экскурсанты узнали меня через ворота и стали со смехом кричать, что я — из их группы. Замок на малом островке, внутренние каменные дворики, вот и цепь для приковки узника к стене, уж и не та и в том ли месте? — но отзывает зэчское сердце: как легко устраивается тюрьма, непроницаемая для одних, легко-прогулочная для других! В детстве по многу раз читал я все свои домашние книги, так и поэму Жуковского. Как-то грезилось это всё намного мрачней, грозней, и волны не озёрные, — и вдруг невзначай вступаешь в грёзу, с комичным эпизодом непусканья. Эти жизненные повторы, всплывы, замыканья жизни самой на себя — до чего мы их не ждём, и сколько ещё встреч или посещений наградят нас в будущем. (В России бы!..)

В Монтрё же предполагалась встреча с Набоковым, но, по недоразумению (он как будто ждал нас в этот день, но не прислал условленного подтверждения, мы ещё и с дороги проверяли звонком в Цюрих), оставалось нам миновать его роскошную гостиницу. (А как странно жить постоянно в гостинице.)

Я жалел, что не увиделся с Набоковым, хотя контакта между нами не предвидел. Я всегда считал его писателем гениальным, в ряду русской литературы — необыкновенным, ни на кого не похожим. (Непохожим на предшественников. Но первое знакомство с его книгами ещё не предвещало, сколько возникнет у него последователей: во второй половине XX века эта линия оказалась весьма разработочной. Ещё тогда не видно было, насколько полное течение родится вслед ему.) Сетовал я, ещё в СССР: зачем не пошёл он по главной дороге русской истории? вот, мол, оказался на Западе — выдающийся и свободный русский писатель, тотчас после революции, — и отчего ж он — как и Бунин, как и Бунин! — не взялся писать о гибели России? Чем другим можно было жить в те годы? Как бесценен был бы их труд, не доступный уже нам, потомкам! Но оба они предпочли дороги частные и межвременные. Набоков покинул даже русский язык. Для тактического литературного успеха это было

верно, что могла обещать ему эмиграция на 40 лет вперёд? Он изменил не эмиграции — он уклонился от самой России.

Ещё из СССР в 1972 году я, «по левой», послал письмо в Шведскую Академию, выдвигая Набокова на Нобелевскую премию по литературе*. И самому Набокову послал копию при письме. [16] Я понимал, что Набоков уже в пожилом возрасте, что поздно ему себя переделывать, — но ведь и родился и рос он у створа событий, и у такого нерадового отца, участника тех событий, — как же быть ему к ним равнодушным?

Когда я приехал в Швейцарию — он написал мне дружественно. И в этом письме было искреннее: «Как хорошо, что дети ваши будут ходить в свободную школу». Но, по свежести боли, покорило меня. Я ответил, тоже искренне: «Какая ж это радость, если большинство оставшихся ходят в несвободную?»

Вот так бы, наверное, шёл и диалог между нами, если бы мы встретились в Монтрё. Русло жизни нашей глубеет с годами — и всё меньше нам возможностей перемениться, выбиться в иное. Окостенел на избранном пути он — да ведь и я костенею, мне бы тоже, ах, когда-нибудь испробовать руслом другим! А вряд ли когда удастся.

Дальше поехали мы долиной верхней Роны — недалеко от Рарона был ещё один домик Видмеров, где и ждали они нас. Холодоватым солнечным вечером эта старинная долина с наслоенными вековыми цивилизациями, и античной, и европейской, как бы вечно обитаемая, сколько вертится Земля, и каждый придорожный камешек, черепок, пенёк — свидетель веков и веков, — произвела величавое впечатление: неистираемая культура, не вовсе ушедшие предки, неуничтожаемая земля! (Вот, например, в это — как хотелось бы! и когда? — мне окунуться?) На скале как крепостца стоит малая церковь, и подле стены её — отдельная, одинокая могила, вся в тёплом жёлтом заливе закатного солнца. Чья же? Мы с Алей были потрясены и награждены: Райнера Рильке! (Хотя умер он подле Монтрё.)

Благоговейно стояли мы, в долгом закате. Вот где привелось... Он выбрал себе эту долину и эту скалу — можно понять! Выбор могилы...

С Видмерами пошли навестить милейшего старого пастора, который когда-то их венчал. Переночевали в их строгом каменном доме такой старобытной и несогреваемой постройки: по кладке, по дугам, по выступам — ну веков пять ему, не меньше.

А дальше вёз нас твёрдыми руками Видмер — моего автомобильного опыта тут бы не хватило. По Швейцарии не так легко проложить маршрут, не всегда прокатаешь прямо. Пришлось переваливать Симплон, там начался снег, ехать нельзя, машины скользят, все ждут. Привезли, насыпали на весь южный спуск песка, тогда поехали. Ниже снег превратился в проливной дождь. Въехали на несколько часов в Италию — всего лишь, чтобы пробраться покороче в южную часть Швейцарии. (А несколько дней оформляли визы на эти несколько часов; и итальянские пограничники тут задержали нас на добрых полчаса безо всяких объяснений, оказалось: бегали за моими книгами, получить автограф.) Через Домодоссолу проехали к Лаго-Маджоре, на берегу его нас пригласили в частную староитальянскую виллу. (Тучевой мрачный день, полутёмные богато убранные комнаты, и хозяйка с дочерьми, угасающий знатный род, чувствовали себя обречёнными на конфискацию коммунистическим правительством, которое вот-вот всеми тут ожидалось. От тени коммунизма всё в вечной Италии казалось временным.) В тот день уже не видели доброго, лило и грязно, а наутро опять солнце — и мелькали, путаясь, Локарно, Лугано, — как видели их, и как не видели, Морготе с возвышенным кладбищем над голубым озером, и назад на север, снова возвышаясь, Сен-Готард закрыт, машина вкатывается на поездную платформу, а на северном выходе ещё поднимаемся выше посмотреть леденящий суворовский Чёртов мост, да в погоду хо-

* «Публицистика», т. 2, стр. 43 — 44.

лодную, мрачную, — незабываемо! На скале — выбито по-русски, выпуклые крупные буквы, старым стилем:

Доблестнымъ сподвижникамъ
генералиссимуса фельдмаршала
графа Суворова-Рымникскаго князя Италийскаго,
погибшимъ при переходѣ черезъ Альпы в 1799 году

Действительно, богатыри! — что скажешь! И можно только изумляться Суворову: в горной стране, куда на зиму безголово загнал его капризный австрийский Гофкригсрат, при небрежении Павла, — в этой стране, глядя на зиму и вдали-вдали от родины, — воевать и не проиграть! (А русские косточки-то как жаль! А — зачем его гоняли сюда? — вся война лишняя.)

Всего четыре дня дома не были, а уже и новости, по радио: американский Сенат единогласно избрал меня почётным гражданином Соединённых Штатов! Позже пришла официальная бумага — и я ответил письмом*.

Я сам не знал, зачем мне это избрание, но тогда казалось важным. Во всяком случае — могло помочь моему делу и сильно перчило Советам. Однако это прекрасно понимал и Киссинджер. Процедура требовала теперь подтверждения палаты представителей, и звание будет решено. Госдепартамент задержал обсуждение в палате. (Тем временем переизбран Сенат. Потребовалось вторичное утверждение изменённым Сенатом. Оно всё же произошло весной 1975. Но тогда Киссинджер снова затормозил, известен пространный об этом документ Госдепартамента: это испортит отношения с Советским Союзом.)

Неудача с моим почётным гражданством в США — такая же закономерность (и такая же благостная), как когда-то неудача с ленинской премией в СССР: я не ко двору обеим системам, вот и находятся вовремя противодействующие силы. С ленинской премией я в тот же момент понял как дополнительное, к моей уже принятой решимости, освобождение; с американским гражданством — годами двумя позже.

Теперь пришлось выступить по швейцарскому телевидению. Придумали они, чтоб я по-немецки читал кусок «Архипелага». Затем какие-то малозначащие вопросы, а дошло до самого лакомого — почему я выбрал Швейцарию? — тут истекло время прямого эфира. (К моему, опять же, облегчению. Что говорить, когда ничего мы ещё не выбрали, нигде ещё не живём, тайно решён отъезд.)

В эти месяцы я должен был доделать важные дела, которые тянулись ещё с родины: напечатать горько-неоконченное исследование покойной И. Н. Томашевской о «Тихом Доне» — и совместно с моими соавторами, Шафаревичем, Борисовым, Барабановым, Агурским, Световым («Корсаковым»), Поливановым («А. Б.») объявить одновременно в Москве и в Европе «Из-под глыб».

Гранки ещё не вышедшей книги Томашевской были у меня в Цюрихе, когда приехал Нильс Удгорд и попросил их с собой, намереваясь подготовить рецензию. А так как ехал он снова в Москву, оканчивать свой корреспондентский срок, я попросил его показать эти гранки Рою Медведеву. Потому что предвидел грандиозную битву вокруг Шолохова, свист и вой советской литноменклатуры — и вот, не пренебрег таким уж вовсе не союзником, как Рой Медведев. (Несколько лишних месяцев он приобрёл, изучить наши аргументы и использовать их в развитие своей самиздатской книги. Но отдать ему должно: не побоялся же двигать этот остро-запретный вопрос, находясь в Союзе.)

Если бы не выслали меня в феврале, то к марту, самое позднее к апрелю, «Из-под глыб» были бы уже готовы и объявлены. Мой отъезд сильно затянул дело, усложнилась связь, последние согласования, — и растянулось это до осени. Весь октябрь и ноябрь мы ждали от друзей из Москвы сигнала: когда

* «Публицистика», т. 2, стр. 128 — 129.

назначена их пресс-конференция, чтобы нашу назначить через день. Андрей Тюрин, звоня из Москвы как бы по частному делу, условной фразой открыл нам, что они дают — 14 ноября. Тотчас стал я собирать свою пресс-конференцию на 16-е.

Во время КГБ ещё давало нам свободный телефонный перезвон с Москвой, и вечером 14-го я позвонил И. Р. Шафаревичу открыто, узнать: как прошло. Разговор я записал подробно, и сейчас освежил в памяти. Черты этой пресс-конференции при немалом событии — декларативном самообъявлении нового направления русской мысли, с острой опасностью для участников, — так характерны для «новостийно»-газетного, легкоплавающего восприятия. наших выступало четверо (не-анонимы). Из пришедших корреспондентов ни один не владел русским языком настолько, чтобы понимать теоретические положения. (Да от газетчиков — и не ожидается к ним интерес. Это была наша ошибка.) Вместо этого все два часа мучительно растолковывали им элементарные вещи — в стране, где они аккредитованы годами и должны бы понимать пронзительно и стремительно! Им говорили об основных признаках советской жизни — погубленной деревне, разоряемой природе, подавленных верующих, обширных лагерях, об ответственности самосознания, — изо всего их тревожила только нынешняя еврейская эмиграция, и не тем, что образованные люди толпами покидают страну, а: как-вы перспективы этой эмиграции развиваться свободно, без правительственных ограничений? — ведь эмиграция вполне обоснована, раз в этой стране упадок культуры, а эмигрантам будет лучше на новом месте.

Сходные ошибки допустил и я в своей цюрихской пресс-конференции. Для мощной поддержки наших ребят я размахнулся устроить её как можно шире, громче, международной. Да ведь и символ же какой виделся в том, что вот из Цюриха оглашается документ, сводка выводов, в которых группа русских людей рассказывает Западу, чем кончилось то 60-летнее злодейство, которое Ленин поехал совершать именно из этого самого Цюриха. Сперва добивался я в городе зала с оборудованием для одновременного многоязыкового перевода. Не удалось. Ладно, решили просто у себя дома, растворив дверь между двумя комнатами. Долго составляли список приглашаемых. Хотелось — побольше, но более 30 человек поместить было невозможно. Ещё я переоценил значение русской эмигрантской прессы: я придавал ей значимость соединения русских сил за рубежом — одна достойная бы для неё роль, но именно её русская пресса не несла, все группы, напротив, ожесточались в разъединении. Итальянцев я уже не приглашал, насытившись однажды, да и нельзя было в комнате рассадить слишком много языков: все переводчики должны были звучать одновременно вслух и не мешая друг другу. Ещё столкнулись с районированием корреспондентских округов: известных лично нам корреспондентов крупных газет нельзя было пригласить, так как Цюрих не входил в их округ, а надо было звать непременно местных, из Женевы, они же понимали в философском сборнике как сом по библии. И советовала мне Аля как можно короче говорить, свести к факту появления, мужеству составителей и самым ярким местам книги, — я же не мог себя подавить и отказаться от подробного обзора статей, и даже истории нашего спора со статьями «Вестника РХД» № 97, перевод шёл последовательный, час моей речи да час перевода, корреспонденты осовели, только крутились магнитофоны русскоязычных западных радиостанций, только они что-то и спасли. После перерыва перешли к вопросам. По существу проблем сборника их, конечно, не было, а тоже сбились на политику: как понимать наш сборник — как «левый» или как «правый»? — только так, в плоскости, могли они расположить и усвоить. Появление сборника — является ли частью международной разрядки? (И это спрашивает Европа — Россию! Дожили.)

Сложное петлистое развитие, которое предстоит совершить России, да и многим народам, попавшим под коммунизм, неуместимо в линейность современной западной информации. Возможно, мы в этом сборнике преувеличили «нацию как личность» сравнительно со всечеловечеством христианства, — но

мы дружно чувствовали так. Вероятно оттого, что — мучительное состояние, и нам предстоит ещё много в нём проработать: русская нация уже умирает, и вот через наше горло прокричала о своей боли. (А из приехавших на пресс-конференцию эмигрантов вожди НТС и Пирожкова, редактор «Голоса Зарубежья», ждали от нас обещания скорой революции в СССР — и никак не устраивало их всего лишь «жить не по лжи», революция нравственная. В. Максимов — просидел безучастно и потом никак не отразил в «Континенте», отчётливо не примкнул к нам.)

Но так или иначе, от дерзкой ли нашей выступки, достаточного международного отгула и потом широкого издания «Из-под глыб» в Соединённых Штатах и Франции, — никакого движения советских властей по этому сборнику не произошло, не преследовался прямо никто — хотя не обвинишь Советы в потакании русскому национальному осознанию.

Вот только теперь я мог ответить и Сахарову, на его громкую критику в апреле. Я отозвался как мог сдержанно, лишь о самом главном, в «Континенте» № 2¹. Сыграла роль и передышка, Сахаров ничего мне не ответил, дискуссия не возгорелась. Впрочем, ответ мой и мало был замечен. (Ещё годами спустя меня спрашивали, отчего же я никогда не ответил на сахаровскую критику?)

В самые напряжённые дни выпуска «Из-под глыб» — на тебе, приглашение из Оксфорда: получать степень доктора литературы, да когда? — в конце будущего июня, а ответить непременно тотчас. Да можно бы и получить, почёт, получали в Оксфорде и Чуковский, и Ахматова, да мы так напряжены со временем, и — да милые мои, разве можно вам открыть, где я буду в будущем июне? Уже за океаном.

Ещё одна неоконченность прошлых лет оставалась — получение Нобелевской премии. Подошёл и декабрь. У прекрасного старого цюрихского портного сшили фрак — на одно надевание в жизни? Чтобы больше видеть Европу глазами, мы с Алей поехали поездом. Какой прекрасной описывает Бунин свою железнодорожную поездку в Стокгольм, из тех же почти мест. А я — не нашёл лучшего расписания. Почему-то в Гамбурге утром наш спальный вагон отцепили — перетаскивайся с чемоданами в другой вагон или в другой поезд, а позже опять, и опять. Так до Швеции мы испытали пять пересадок. По Швеции ехали долгим тёмным вечером, не видя её, а спутник по купе, бывший западногерманский консул в Чили, рассказывал нам о бесстыдстве и шарлатанстве тамошних «революционеров». — «Да вам бы об этом книгу издать!» — «Что вы, разве можно? Заключают. ФРГ — уже почти коммунистическая страна».

Чтоб избежать корреспондентской суматохи, мы уговорились приехать тайно и не с главного стокгольмского вокзала (да подавливать-то могли скорей на аэродроме). Шведский писатель Ганс Бьёркегрен, он же и мой шведский переводчик, и ещё один переводчик Ларс-Эрик Блумквист вошли к нам в поезд за час до Стокгольма. А на последней перед ним станции мы сошли — и на пустынном перроне нас приветствовал маленький худощавый Карл Рагнар Гиров. Вот как закончилась наша длинная нобелианская переписка и вот где мы встретились наконец: без единого западного корреспондента, но и без единого советского чекиста, совсем было пусто. Оттуда просторным автомобилем поехали в Стокгольм и достигли того самого Гранд-отеля, от которого меня в 1970 отговаривал напуганный Нобелевский комитет. Всё же на ступеньках уже дежурили фотографы и щёлкали, совсем тихо приехать не удалось. Стоит отель через залив от королевского дворца, фасадом к фасаду. По мере прибытия, в честь приехавших лауреатов поднимают-ся на отеле флаги.

В нашей советской жизни праздники редки, а в моей собственной — и вообще не помню такого понятия, таких состояний, разве только в день 50-летия,

¹ «Публицистика», т. 1, стр. 215 — 222.

а то никогда ни воскресений, ни каникул, ни одного бесцельного дня. И вот теперь несколько дней просто праздника, без действия. (Впрочем, натолкались и дела — визитами, передаваемыми письмами. Навязали мне внезапную встречу с баптистским проповедником Биллом Грэмом, исключительно популярным в Америке, а мне совсем неизвестным. Приходил эмигрант Павел Веселов, ведущий частные следствия против действий ГБ в Швеции, и со своей гипотезой об Эрике Арвиде Андерсене из «Архипелага».) Следующий день был совсем свободен от расписания — да *день ли?* даже после невыхода берегов поражает стокгольмский зимний день своею краткостью: едва рассвело — уже, смотри, вот и полдень, а чуть за полдень заваля — и темно, в 3 часа дня, наверно. В эти дневные сумерки наши дружественные переводчики повезли нас в Скансен. Это — в пределах Стокгольма чудесный национальный заповедник на открытом воздухе: свезенные с разных мест Швеции постройки, кусок деревни, ветряная и водяная мельницы (всё в действии), кузня, скотный двор, домашняя птица, лошади и катанье детей в старинных экипажах, само собой и зоологический сад. Зимой под снегом многое приглушено, но тем ярче и привлекательней старинные жилища с пылающими очагами, раскаткою и печевом лепёшек на очаге, приготовленьем старинных кушаний при свечах, старинными ремёслами — тканьем, вязаньем, вышиваньем, плетеньем, резьбой, продажей народных игрушек, стекла, — а базарные ряды гудят, и в морозной темноте снимают вам с углей свежее жаренную рыбу. Все веселятся, а дети более всех.

Вот это, пожалуй, и было самое яркое впечатление из всех стокгольмских дней. Непривычные часы праздничного веселья. И радости-зависти, что ведь у нас могли бы быть народные заповедники не хуже, без проклятого большевизма, — а всю нашу самобытность вытравили, и наверно навсегда... (А ведь и у нас затевал Семёнов Тян-Шанский в 1922 году из стрельнинского имения великого князя Михаила Николаевича устроить «русский Скансен», — да разве в советское лихолетье такое ко времени? Пописали в «Известиях» и закинули. Не к тому шло.)

Ещё на следующий день удалось нам побродить часа два по старому городу на островах — вокруг королевского дворца старыми улочками, и по Риддархольмену с его холодными храмами. А все памятники Стокгольма едва ль не на одно лицо: все позеленевшие медные, все стоймя и все с оружием (умела когда-то эта нация воевать). Стокгольм как бы не гонится за красотой (чрезмерные водные пространства мешают создавать ансамбли через воду, как в Петербурге) — но оттого очень подлинен. И угластые площади его — не определённой формы, не подогнанные.

Затем был обед, традиционно даваемый Шведской Академией — лауреату по литературе, в данном случае нам троим, этого года лауреаты были два милых старичка-шведа — Эйвин Ёнсон и Харри Мартинсон, и третий к ним — я, на четыре года опозданный. Это происходило в ресторане «Золотой якорь», очень простой старый дом, и досчатые полы, и домашняя обстановка. Тут и собираются академики каждый четверг обедать — обмениваться литературными впечатлениями и подготавливать своё решение. Едва мы вошли в залик — и уже какой-то плечистый, здоровый, нестарый академик тряс мне руку. С опозданием мне назвали, что это — Артур Лундквист (единственный тут коммунист, который все годы и возражал против премии мне).

А всего академиков было, кажется, десять, больше (но не только) старички, были весьма симпатичные, а общего впечатления высшего литературного ареопага мира не составилось. И покойное течение шведской истории в XX веке, устоявшееся благополучие страны — может быть, мешали вовремя и верно ощутить дрожь века. В России, если не считать Толстого, который сам отклонил («какой-то керосинный торговец Нобель предлагает литературную премию», что это?), они пропустили по меньшей мере Чехова, Блока, Ахматову, Булгакова, Набокова. А в их осуществлённом литературном списке — сколько уже теперь забытых имён! Но они и присуждают всего лишь в XX веке, когда почти всюду и мировая литература упала. Ни-

кто ещё не создал объективное высшее литературное мировое судилище — и создаст ли? Остаётся благодарить счастливую идею учредителя, что создано и длится вот такое.

Но мечтается: когда наступит Россия духовно оздоровевшая (ой, когда?), да если будут у нас материальные силы, — учредить бы нам собственные литературные премии — и русские, и международные. В литературе — мы искусены. А тем более знаем теперь истинные масштабы жизни, не пропустим достойных, не наградим пустых.

Наверно, никогда за 70 лет Нобелевская литературная премия не сослужила такую динамичную службу лауреату, как мне: она была пружинным подспорьем в моей пересилке советской власти.

Накануне церемонии собирали лауреатов на потешную репетицию: как они завтра вечером будут перед королём выходить на сцену парами и куда рассаживаться. 10 декабря так мы вышли, и неопытный молодой симпатичный, довольно круглолицый король, первый год в этой роли, сидел на сцене рядом со своей родственницей, старой датской принцессой Маргрете, она — совершенно из Андерсена. Уже не было проблемы национальных флагов над креслами лауреатов, как в бунинское время, их убрали, — и не надо было мучиться, что же теперь вешать надо мною. При каждом награждении король поднимался навстречу лауреату, вручал папку диплома, коробочку медали и жал руку. После каждого награждения зал хлопал (мне — усиленно и долго), потом играл оркестр — и сыграли марш из «Руслана», так хорошо.

Господи, пошли и следующего русского лауреата не слишком нескоро сюда, и чтоб это не был советский подставной шут, но и не фальшивая фигура от новоэмигрантской извращённости, а его стопа отмеряла бы подлинное движение русской литературы. По забавному предсказанию Д. С. Лихачёва литература будет развиваться так, что крупные писатели станут приходить всё реже, но каждый следующий — всё более поражающих размеров. О, дожить бы до следующего!

Да, в этот день были же и дневные часы, короткий утро-вечер, но сегодня ведренные, без облаков, с холодным низким солнышком, резко-морозным ветерком. Нобелевская лекция моя напечатана уже два года назад, заботы нет, да и банкетное слово тогда же сказано, урезанное, но сегодня не обойтись без нового банкетного слова. Я составил его ещё накануне. Однако рассеянное состояние головы, много впечатлений, отвлечений, — и эти короткие фразы не ложились уверенно в голову, а никак не хотелось мне читать с бумажки, позор, — но и сбиться не хотелось. И я пошёл прогуливаться невдали по узкому полуострову Скепсхольмену, с видом на Кастельхольмен, с редко расположенными в парковой обстановке перемененно — домами старинными и новыми; и, по-тюремному, ходил по аллее туда-сюда, туда-сюда, туповато запоминал наизусть и поглядывал на красное, как бы всё время заходящее на юге солнце. А два полицейских дежурили тактично в стороне, наблюдая за подходами ко мне. Почти это было — как спецконвой сопровождает и охраняет избранного зэка.

В ратуше опять мы церемонийно шагали с предписанными в программках дамами и, ни позже ни раньше, в какой-то момент, вослед за королём, сидели на свои места, обозначенные табличками. (Со мною была дама из рода Нобелей, ещё говорящая по-русски. Аля сидела напротив с видным посланником.) Банкет был в этом году в самом большом зале ратуши, и столов 20 гостей уже были плотно усажены прежде нас. Где-то тут совсем близко сидели приглашённые мною Стиг Фредриксон с Ингрид, верные спутники нашей борьбы, однако они терялись в массе гостей, мне очень хотелось выделить их, подойти к их столу, — но соседка моя объяснила, что это было бы дерзчайшим и невиданным нарушением церемониала: пока король сидит, никто из гостей не смеет приподняться. Еле я удержался, насильственно. А потом подошёл и момент, когда подняться требовалось — идти к трибуне, говорить своё *слово*.

Все лауреаты читали по бумажкам, мне удалось прочесть на память, неплохо. (Би-Би-Си, «Свобода» донесут голос до наших.)*

А в общем, наивен я был четыре года назад, призывая их за этим чопорным банкетом думать о голодовке наших заключённых.

Но больше: продешевился бы я крепко, вот только ради одного такого церемонийного дня — уехавши бы из России добровольно, да от неё тут же и отсеченный: тут в Стокгольме и узнать о лишении гражданства: упала секира, сам уехал? Хорош бы я был? (Аля поняла это в 1970 раньше меня.) И чем бы я тогда отличался от Третьей эмиграции, погнавшей в Америку и Европу за лёгкой жизнью, подальше от русских скорбей?

Сейчас хор студентов с галереи зала пел мне, с сильным акцентом, «Вдоль по улице мятелица мятёт», — так, слава Богу, не сам я эту улицу избрал, но шёл, как каждый зэк идёт, судьбою принуждённой.

На следующий вечер, 11 декабря, был ужин у короля во дворце, и к нам с Алей приставлен ещё один русскоговорящий старичок из рода Нобелей. Дворец был мрачен и пуст, так огромен — совсем уже не по маленькой Швеции. Где-то в одном его крыле жил молодой король, ещё не женатый, — из нашего Гранд-отеля, через залив, многие окна дворца были видны тёмными. Теперь в зале нас выстроили изогнутой вереницей, попеременно дам и мужчин, впереди стал самоуверенный премьер социалист Пальме, истинный хозяин положения, и король начал обход с него. А рядом со мной была тоже дама социалистическая — госпожа Мирдаль, то ли бывший, то ли нынешний министр экономики, говорили мы с ней по-немецки, а политический диссонанс между нами был — как скрести ножом по тарелке. Обеденный зал, как галерея-коридор, с длинным столом вдоль, очень эффектные старинные стены, мебель, церемониймейстер за стулом старой королевы, — а обед был скучный, да и скудноватый, шутили мы с Алей, что Пальме совсем до ноля срезал королевский бюджет. После обеда было церемонийное стояние с кофе и напитками в предзальи; минут сорок, пока король не ушёл, — все должны были стоять. Аля не удержалась и через нашего старичка спросила короля: трудно ли быть королём в наш век? Он отвечал очень просто и серьёзно.

Ещё на следующий день я назначил пресс-конференцию, а перед тем ездил к несчастной матери Рауля Валленберга, 29 лет уже сидящего, если не умершего, в советской тюрьме. (Его я первоначально понимал как моего Арвида Андерсена, — «Архипелаг», ч. II, гл. 2, — но не сошлось.) И пресс-конференция если была чем полезна и нужна, то только тем, что я пространно говорил о Валленберге и упомянул потом Огурцова, в то время пробно сажаемого в психушку. Конференцию эту я созвал, предполагая отдать свой долг пресе за целый год пребывания на Западе, — и опять ошибся. Корреспондентов было больше половины шведских да русско-эмигрантских, со своими специфическими вопросами. А для западной прессы Стокгольм был — отдалённый угол, где ничего важного не могло быть сказано, никого серьёзного и не прислали. А для меня, для писателя, форма пресс-конференции, как, впрочем, и интервью, — совершенно ненужная, чуждая форма. У писателя есть перо — и надо выражаться самому и письменно.

Всё не находил я правильно, как же с этой прессой обращаться.

На обратном пути заехали мы на день во Франкфурт-на-Майне, познакомиться с «Посевом» и ведущими НТСовцами. Моё первое касание их было — Евгений Дивнич в Бутырках 1946 года. Он производил сильнейшее впечатление своей пламенной (и православной) убеждёностью, но никакого НТС я тогда не расчужал, даже название не уловил. Потом в СССР годами нас стращали НТСом как самым ужасным пугалом. (Отчего думать надо, что советская власть их всё-таки побаивалась: ведь единственная в мире организация против

* «Публицистика», т. 1, стр. 223 — 224.

них с открытой программой вооружённого свержения.) Из радио знал я потрясающий случай, как агент госбезопасности Хохлов отказался убить их лидера Околовича (теперь повидали мы и старичка Г. С. Околовича, уже без трагического флёра). Потом наезжали к нам в Цюрих то В. Поремский, то Р. Редлих, присылали свою программу-устав, читал я их. Душой — я вполне сочувствовал начинателям их Союза, молодёжи русской эмиграции в Европе в 20-е—30-е годы: естественный порыв переосмыслить и прошлое и будущее, искать собственные пути к освобождению России. Но вот читаю теперь — и ощущение какой-то неполномерности, недотянутости до полного уровня и полного объёма. Программа их с использованием мысли о солидаризме (а не классовой борьбе!) как главной движущей силе развития человечества составлена была настолько безнационально, без всякого даже упоминания русской истории или её особенностей, что довольно было бы вместо «наша страна» везде подставить Турцию — и равно пригодилось (не пригодилось) бы для Турции. Теперь мы наблюдали НТСовцев сутки, устроено было теоретическое заседание со всем их руководством, — и впечатление, увы, подтверждалось: не слишком живоносная ветвь поражённой, рассеянной, растерянной русской эмиграции. В революцию затмилось русское небо и не стало видно вечных звёзд, утерялась связь с уверенным ходом их — и остались мерки подручные. И для освобождения России никак бы не могли в те годы придумать НТСовцы другой формы и метода, как создать такую же централизованную заговорщицкую партию, как большевики, только с другим знаком, чистую. Однако и признаться: если кто в эмиграции ещё и держал какой-то живой обмен с кем-то в советском населении, то именно НТС. Их долгой истории я не изучал, были у них и конфликты, разрывы, отходы, были большие сложности в подгитлеровское время — однако ж вот устояли. Все они жили весьма скудно, всё отдавалось борьбе, как у прежней революционной интеллигенции, но ветер века не подхватывал их паруса, а, напротив, больно сбивал. И из атакующего брига они невольно дали большевикам превратить себя в пугало с опавшими чёрными парусами, которого наши соотечественники только боятся, сторонятся. Внушительно говорили НТСовцы о своей подрывной противобольшевицкой деятельности и агентуре в СССР — и можно было бы поверить, если б мы не были сами из той страны и не ощущали, что тут больше самовнушения, а до «подрывной деятельности» далеко. Главные мыслители их не поражали крупностью, просто непременные теоретики, нельзя же партии без них. Но и не без живых умов было их руководство — а не было под ними истой почвы, в которой бы им укрепиться, не было слияния с той народной жизнью, как она развивается под большевиками, — да ведь это искусственно как воссоздашь? При всём их идеализме, динамизме — как присоединиться к текущей, значит подсоветской, российской жизни, и как повлиять? Все они сильно дисциплинированные, централизованные, политизированные, — а какого-то вольного дыхания, жизненной простоты не могли добрать. Все они православные, построили свою церковь, все посещали службы, отличный хор, — но и это ведь скорее мысленная Россия, прошлая, будущая, а не сегодняшняя. Состарились те молодые, которые когда-то начинали Движение, потом вливалась в них частью Вторая эмиграция, затем вырастала тут своя молодёжь, — а стоит ветка как отдельная, не соединённая со стволом. Таково зачатие жизни вдали от своего народа... И это ж ещё насколько лучше тех тысяч из эмигрантской молодёжи, кто без сопротивления дал себе уплыть дорогой западного благополучия. Нет, у какого другого народа эмиграция, может быть, и сила, да не у нас. Органично для русских?.. — увы, отрицать трудно.

И с особенно тревожным чувством присматривались НТСовцы к новоприбывающим из СССР, искали единения и понимания с ними, — а далеко не всегда находили. И невольно становились перед вопросом: на что ж им надеяться?

Возвращение в Цюрих принесло мне вполне неожиданный сюрприз. За время моей поездки адвокат Хебб получил и теперь передал мне письмо от

цюрихской «полиции для иностранцев» (в многоприютной Швейцарии есть такая). Её шеф Цеентнер (Zehntner) писал, что, согласно сообщениям прессы, Александр Солженицын дал 16 ноября в Цюрихе пресс-конференцию. При этом он не только представлял эссе некоторых советских авторов, но высказал критические соображения о коммунизме вообще и о роде и способе, каким он практически осуществляется в Советском Союзе. И высказывания его, по крайней мере частично, имели политическое содержание. Так вот, согласно решению швейцарского правительства от 1948 г. касательно политических речей иностранцев, иностранцы, ещё не обладающие швейцарским подданством, могут высказываться на политические темы как на открытых, так и на закрытых собраниях — только с разрешения. Однако такое разрешение не было получено для упомянутого собрания. Просит полиция моего адвоката обстоятельно разъяснить Александру Солженицыну прилагаемое правительственное решение. А в будущем требуется, чтобы перед каждым таким собранием испрашивалось бы разрешение цюрихской полиции не позднее как за десять дней. («Десять» и в его фамилии было корнем: Десяткин? Десятник?)

Десять суток! Фью-у-у-у! Вот так приехал в свободную страну! Да неужели же в свободной стране правительство отвечает за частные высказывания жителей? Почему правительству надо брать на себя ответственность за их молчание? Да мне и КГБ таких указаний не выставляло: не высказываться на политические темы или за десять дней спрашивать у них разрешения! То есть даже так надо понять, что если я хочу у себя в доме вести политическую беседу с приятелями («закрытое собрание») — я должен предупредить полицию за десять дней?!

Как будто звук боевого рожка снова доносится до уха! Привычный позыв — да немедленно ответить им публично! грохнуть! обнажить ихние швейцарские законы! Благодетели! — приют мне предоставили! — чтобы я молчал глуше, чем в СССР?

И — не удержался бы, скорее всего так прямо, неприлично бы и грохнул! — трудно отстать от навыка. А — как же мне дальше тут жить с заткнутым ртом?

Но уже есть швейцарские друзья, наши добрые Видмеры, перед которыми неудобно сделать такой шаг, не посоветовавшись: не отвечают они за всё швейцарское, даже за всё цюрихское, хоть Видмер и главный в Цюрихе человек, а не хочется делать им больно и стыдно за свою страну. И они, конечно, в ужасе от моего проекта, отговаривают.

Потом и — радость Советам не хочется доставлять: как меня тут прижали.

А потом: отъезд из Швейцарии всё равно решён, а теперь — тем более бесповоротно. То, что длится сейчас, — это временное переходное состояние, европейская пересадка. Разве мы тут поселились, пускаем корни? мы чуть-чуть держимся. Это письмо из полиции только лишний раз толкает: да, да! здесь — не моё место.

Нет, ехать дальше.

Но ответ полиции я пишу выразительный: на указанной пресс-конференции я не только не высказывался за насильственное свержение советского режима, но всячески предостерегал от таких действий. А вот Ленин в 1916—17, живя здесь, в Цюрихе, открыто призывал к свержению всех правительств Европы, в том числе и швейцарского, — и таких предупреждений от швейцарской полиции не получал. И оговорил, что когда-нибудь, может, это письмо опубликую*.

Одновременно всё же прощупал: да неужели уж так ничего в Швейцарии не смею? В Москве вышибли с секретарей ЦК моего «приятеля» Дёмичева — и я высказался в «Нойе Цюрхер цайтунг» о новом повороте в СССР. Ничего, прошло без полиции. Письменно — можно. (А через два месяца выступил в

* «Публицистика», т. 2, стр. 202 — 203.

Цюрихском университете перед студентами-славистами*, правда, всего лишь на тему о русской литературе и языке, ни о чём другом, — тоже прошло беспоследственно.) Но вот в эти самые месяцы одна швейцарская торговая фирма уволила свою служащую, переводчицу, по протесту советского клиента: на его бранные слова о Солженицыне переводчица спросила: «Да читали ли вы его?» И — уволена!

Независимая свободная старейшая демократия Европы! Нет, я скорее понимал тот стонущий зов, который увлёк почти всю Вторую эмиграцию за океан: кто отведал советского рая — тот делает выводы до конца. Во мне наслоились тюремные потоки 1945 — 46 годов («схваченные в Европе», выловленные гебистами даже поодиночке, хоть в центре Брюсселя), я делил с ними камеры и этапы, я ощущал себя братом Второй эмиграции. Да может быть, никакого броска на Европу и не будет, но не хочу ежедневно томиться, что мои свободно разложенные архивы и рукописи могут погибнуть, — так «Красного Колеса» не написать.

Отъезд из Европы решён бесповоротно, но тем ещё напряжённей тяга к России: да чем же ускорить её освобождение? Бродило во мне такое намерение: теперь, вслед за глухими вождями — да обратиться, с другого конца, к молодёжи Советского Союза? Вот, сохранился у меня и набросанный тогда проект, хотел приурочить его к Новому году:

«Наступающий 1975 год кончает собой три четверти XX столетия. Уже окрашено оно цветами, какие заслужило: красною кровью павших, чёрной тюрьмою мучеников и жёлтым предательством большинства. И всё же четверть столетнего поля ещё остаётся свободной для остальных, лучших красок спектра, и все они — в наших грудях и в нашей воле. И если бы на 4-ю четверть мы выплеснули бы наше лучшее — ещё изменился бы весь тон картины, и ещё могла бы она получить *смысл*, которого за 75 лет не составила. XX столетие, из самых позорных и в мире, и в нашей стране, — ещё можно спасти! Первый же год этого века в России был озаглавлен (и, видно теперь, символически) мощным студенческим движением. Преследования тех студентов по нашей сегодняшней мерке были комичны, последствия их движения — ужасающие. Всё делалось ими от чистых сердец, но безо всякого общественного опыта, нахватаемыми теориями революции и насилия. Сегодня, напротив, студенчество наше — в дремоте, немощи и старческом благоразумии: лучше жить на коленях, чем умереть стоя. Более запутанного и смиренного студенчества, чем в нашей стране, нет сейчас на земле нигде: студенты арабские, эфиопские и тайландские поражают развитием и смелостью по сравнению с нашими. Но этим сегодняшним индивидуальным благоразумием вы и на 4-ю четверть столетия копаете себе ещё одну братскую могилу коллективного рабства. Кому сегодня 20 лет — к концу столетия будет под 50, вся лучшая часть вашей жизни и пройдёт в избранном рабстве. Вы ждёте освобождающего чуда? Ниоткуда оно не спустится. Либо — сами вы это чудо добудете, либо — не будет его. И кому же менять условия в нашей стране, если не вам?..»

Не дописал.

Сомнение: ещё как будто я имею право так обращаться к ним, сам недавно из боя, а может быть, за этот неполный год безопасности, уже и потерял право? *отсюда — туда* — может быть, уже не смею так? Это уже звучит безответственно, пафосно, не тот тон?

Отъезд из Европы — бесповоротен, и даже уже намечен на эту весну. Конечно — Канада. Огромная, тихая, богатая, ещё силы своей не сознающая дремливая Канада, и такая северная, и такая похожая на Россию, да через Аляску и граничащая с ней. Вдруг что-то родное?

Батюшки, остаётся всего лишь несколько месяцев, а мы и Европы до сих пор не видели! мы даже в Париже не были ни разу! быстро собираемся, катим туда, прямым поездом 6 часов, — но сколько ж времени, о Господи, получать визы! Нам, иностранцам, неполноправным гражданам, каждый шаг — через визу.

Встретить в Париже Новый год. Аля едет в Париж больше как человек естественный: смотреть неповторимый заманный город, набережные, бульвары,

* «Публицистика», стр. 211 — 233.

картинные галереи, Нотр-Дам, живые легенды. А мне — по сжатым срокам моим и по объёму рёбер — да куда ж это всё вместить бы? Я и тут — с деловой, «революционной» целью: моё — это Париж русской эмиграции, какой он увиделся и достался нашим горьким послереволюционным эмигрантам, — не сплошь всем, не тем, кто бежал, спасаясь, а той белой эмиграции, которая билась за лучшую долю России и отступила с боями. Это тоже — часть моего «Колеса», это всё туда входит: Париж Первой эмиграции, как она выживала тут полвека и больше, как исстрадалась и умерла. Коснуться русского Парижа.

Смешно так получилось: 27 декабря, только вышли мы с Восточного вокзала (ошеломлёнными глазами боясь допустить, что вот эти серые дома и узкая улица, по которой мы поехали, и есть тот самый Париж, исчитанный с детства), как встречавшие Струве перекинули нам на заднее сиденье сегодняшнюю парижскую газету: на первой странице, словно выстроенные в ряд, сфотографировались четверо писателей новой «парижской группы»: Синявский, Максимов, В. Некрасов и А. Галич. А в интервью шла всячинка, Некрасов изумлялся обилию фруктов на Западе как самой поражающей его черте после изнурительного рабского Востока, а Галич уравнивал мои вкусы с брежневскими и предсказывал, что я *никогда* не приеду в ненавидимый мною Париж.

Поместились мы в Латинском квартале на улице Жакоб (рядом с издательством «Сёй») — в единственном изолированном мансардном номере, куда доводила крутая лестница как корабельная и с морским канатом вместо поручня. Мансарда была достойно-парижская, из окна одни крыши и каменные колодцы дворов. Погонял я по Парижу тоже немало, всё пешком, ещё сохраняя ноги и обычай юности (тут примешивается в память и второе посещение Парижа, той же весной, и ещё третьё, через год), кажется и видел всё главное, подобрал — не настолько, чтоб делиться с читателем, а чтобы хватило самому. (Лучший день тут был — прогулка с о. Александром Шмеманом, знатоком и города и истории его, — он вёл меня и, по мере встречных мест, попеременно проводил то через Париж Людовигов, то через Революцию большую, революцию малые, войну прусскую, Мировую первую, 30-е годы, немецкую оккупацию, да и те самые «русские» кварталы, к которым влёт меня главный интерес.)

Всю мою советскую юность я с большой остротой жаждал видеть и ощутить русскую эмиграцию — как второй, несостоявшийся, путь России. В духовной реальности он для меня не уступал торжествующему советскому, занимал большое место в замыслах моих книг, я просто мечтал: как бы мне прикоснуться и познать. Я всегда так понимал, что эмиграция — это другой, несостоявшийся вариант моей собственной жизни, если бы вдруг мои родители уехали. И вот теперь я приехал настигнуть эмиграцию здесь — но главная её масса, воинов, мыслителей или рассказчиков, не дождавшись меня, уже вся залегла на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа. И так моё опозданное знакомство с ними было — в сырое, но солнечное утро, ходить по аллеям между памятниками и читать надписи полковые, семейные, частные, знаменитые и безвестные.

Я опоздал.

Правда, ещё кто-то жил в инвалидном доме по соседству с кладбищем, даже полковник Колтышев, очень близкий к Деникину в самую гражданскую войну. Правда, в Морском собрании (особняк, ведомый старыми моряками) мне созвали двух адмиралов и трёх полковников той войны. Ещё в разных местах Парижа навещал я старичков с памятью *того* времени, даже крупных по своим бывшим постам, или ездил к бережливым монархистам посмотреть в квартирке сохранённый уникальный фильм о царской семье. И ко мне в номер приходили старики, тогдашние молодые офицеры, рассказать перед магнитофоном впечатления революционных дней, деформированные сумраком полувека. Ещё повидал я и сына Столыпина, и бывшего сталинского приближённого Бажанова, добровольно покинувшего зенитную большевицкую карьеру. (В раннем издании «Архипелага» я упомянул, что его убили, он написал мне по-твеновски: «Слухи о моей смерти преувеличены».) А портье нашей го-

стиницы вдруг отвечал по-русски и оказывался не Жаном, а Иваном Фёдоровичем, с грустной косостью улыбки при этой вымирающей речи. А Новый год мы со Струве и Шмеманами отправились встретить в так называемый (уже только называемый для экзотики) русский ресторан Доминика на Монпарнасе — и сидела там состоятельная публика, чужая России, а старый русский официант, высокий статный мужчина, наверно бывший офицер, — в полночь надел для смеха публики дурацкий колпак и пытался смешить, едва ли не кукаркая. Сердце разрывалось от такой весёлой встречи. (Но и вообразить же можно было 55 этих встреч, с пожеланиями каждый раз — чтобы скovyрнулись большевики.)

В свою очередь предполагалось, что и я представлюсь старой эмиграции, соберутся они в каком-то зале, — но схватил сильный грипп, в тот новогодний раз мы уехали больные, а в другой приезд уже не пришлось как-то, — и никогда теперь уже не придётся, увы.

Не замирала и жилка современности: в наш мансардный гостиничный номер приходили к нам «невидимки» — Степан Татищев, Анастасия Борисовна Дурова, кто так основательно нам помогла, однако даже имя её мне не называлось прежде, а теперь она весело рассказывала о подробностях своей конспирации. Пришли и новые эмигранты Эткинды, ещё сильно не в себе от здешней жизни, особенно потерянная Екатерина Фёдоровна, и вспоминали мы как некое замороженное счастье — злосчастье тех дней, когда меж нами жил тайный «Архипелаг». (Нельзя было предположить, что вскоре обречены разойтись наши дороги.) В другой вечер мы с Алей бродили со Степаном Татищевым по пляшущему световому базару Верхних бульваров, уговариваясь о подробностях будущих тайных связей с Россией.

Наконец посетил я со Струве русскую типографию Леонида Михайловича Лифаря, где печатался мой «Август», «Архипелаг», да и всё другое, — ту страшно тайную типографию, как я воображал её из Москвы, когда предупредил Никиту Алексеевича: с рукописью в руках даже не перемещаться по Парижу в одиночку, — но разорвалось бы тогда сердце моё, хорошо что не знал: типография Лифаря — это открытый двор, открытый амбар, куда может в любое время всякий свободно зайти и ходить между незаграждёнными стопами набора, того же и «Архипелага». Связь Лифаря с издательством «Имка» не могла не быть известна ГБ — и как же они проморгали подготовку «Архипелага»? почему не досмотрел сюда их глаз, не дотянулась рука, — и так моя голова уцелела? А Лифарь сам пережил 30-е годы в СССР — и вот почему всем сердцем воспринял «Архипелаг»*.

Русская «Имка» имела за плечами весьма славную историю в русском зарубежье. В десятилетия, когда торжество коммунизма в СССР казалось безграничным, всякий свет загашен и растоптан навсегда, — этот свет, ещё от религиозного ренессанса начала века, от «Вех», — издательство пронесло, сохранило и даже дало ему расцвет в малотиражных книгах лучших наших уцелевших мыслителей — концентрат русской философской, богословской и эстетической мысли. Само название ИМКА, диковатое для русского уха, досталось издательству по наследству от американской протестантской организации (YMCA, Young Men's Christian Association), питавшей его небольшими средствами, затем завещавшей своих опекунов. Издательство начало действовать с 1924 года, первой книгой издав зайцевского «Сергия Радонежского», позже федотовских «Святых древней Руси», затем издавало С. Булгакова, Франка, Бердяева, Лосского, Шестова, Вышеславцева, Карсавина, Зеньковского, Мочульского. С 60-х годов книги «Имки» помаленьку стали проникать в Советский Союз, открывая нашим читателям неведомые миры. А моя связь из Москвы была не с «Имкой», а лично с Никитой Струве. Струве и был для меня «Имка», ясно было, что он её вёл и решал, с ним мы определяли все

* И, по завету его, — «Архипелаг» его набора так и был положен ему в гроб. (Примеч. 1986.)

сроки печатанья, условия конспирации. И когда Бетта привезла в Москву, что в Париже объявился какой-то Морозов, который претендует, что имеет права на мои книги, — мы переполошились: ещё новый пират? ещё новый агент ГБ? — хотел я даже посылать гласное опровержение. Но когда по западному радио объявили о выходе «Архипелага» — то назвали Ивана Морозова как директора крохотной «Имки», до вчерашнего дня мало кому на Западе и известной. Вот тебе на, откуда взялся?

А в Цюрих приехал Струве и подтвердил: да, директором у них — Морозов. И даже пришло письмо от Морозова с настоянием срочной встречи, но и какой-то сдвиг был во фразах, вызывал удивление. Н. А. объяснил мне, что Морозов все месяцы тайного набора «Архипелага» ничего о том не знал. В день же выхода 1-го тома Н. А. лежал больной, а книги внезапно пришли из типографии — и тут Морозов дал интервью прессе, рассказал об издательстве и о себе.

А когда мы получили 1-й том в Москве — были горько изумлены большим количеством опечаток, но верно приписали это конспирации. (По конспирации, только Струве с женой и корректировали, как успевали.) В наши самые грозные московские дни — мы составляли список опечаток, и «по левой» слали их в «Имку», они на ходу, при допечатках тиража, исправлялись (а тираж «Архипелага»-I был для них невиданным — 50 тысяч, до тех пор они крупной одной тысячи редко что выпускали и всего-то по 2—3 книги в год. Была эпитафия в эмиграции: «Отвечает ИМКА: мы / издаём одни псалмы»). И уже в Цюрихе, как упомянуто, при нашей неустроенной жизни, при наших трёх младенцах — Аля вела и ночами вычитывала корректуры. Мы ещё тогда не охватили эмигрантской реальности. Вот мы с боем вышли из такой пещеры (из глубины её казалось — на Западе всё легко, всё просто), — теперь только рукопись протяни, её подхватят и тут же принесут готовую книгу, — нет, выходит, здешнему русскому издательству нужно сначала помочь стать на ноги. Да, так нам открывалась извечная нищета Первой эмиграции и сиротство её.

Теперь в Париже я мог ближе рассмотреть это издательство и немало подивился, на чём оно держится. Струве, профессорствуя в Парижском университете, был бесплатным сотрудником и радетелем, душой издательства, но не занимал и не хотел занимать никакого поста. Оплаченным директором состоял Морозов, при нём бухгалтер, и ещё немало сотрудников толпились избыточно в книжном магазине, которому Морозов и придавал первостепенное значение. В самом же издательстве в тот год не было *ни одного* редактора, ни постоянного корректора (а типографию, естественно, каждый раз нанимали). Морозов, выходец из русской крестьянской семьи в Эстонии, не проявлял издательского дара, линия издательская была не всегда разборчивой, и в ряду религиозно-философских изданий странно выглядели третьесортные скороспешные диссидентские репортажи, а то лихие, но не живучие новинки сам-издата. (В суматохе хлынувшей новой эмиграции иногда не мог и Струве разобраться, что это за явление и что оно в советской жизни весит.) Оказалось, что и договоры со мной, заочно написанные, — находятся в безалаберном и безответственном составе, Морозов и с Флегеном заключил какое-то «джентльменское соглашение» — «делить советских авторов», ничего ещё не зная о тайных переговорах Струве со мной и о грядущей череде моих книг. Морозов и в «Собачьем сердце» Булгакова находил «неприличные места», и по советскому словарю Ушакова проверял в «Раковом корпусе» «странные слова», каких быть не может. (О словаре Даля он не знал.) В конце 60-х годов он психически заболел, пытался кончать с собою, и полгода провёл в клинике. С тех пор находился под лекарством, оглушённый, не выходил полностью из болезненного состояния, производил странное впечатление — то напряжённым усилием ширить глаза, то восторженным взглядом, то фразами без понятия дела, в чём заторможенный, а в боязни разорения очень возбуждённый. В первый же мой приезд в Париж, едва с Морозовым познакомясь, я сильно удивился и спрашивал Струве, и советовал: зачем же это показное руководство,

тормозящее работу? Струве отклонял: с Морозовым долгие годы сотрудничества, в конце 30-х он приехал из Прибалтики, молодой энтузиаст, и много сделал для восстановления РСХД во Франции. Он отдавался делу целиком, бескорыстно, но неумело. А в эмиграции так узок круг работников, всякий разрыв воспринимается болезненно.

Однако несогласованность руководства и беспорядочные действия в издательстве просто в отчаяние приводили. Уже я связан был с ними прохождением всех моих книг, и со Струве и с «Вестником» был связан душевно и в работе, — однако и трудно же так дело вести. Вдруг — узнаю, что кто-то торгует моими фотографиями, и с каким-то ещё произвольным девизом. Кто же? «ИМКА-пресс»! Морозов распорядился наготовить этих фотографий и принудительно добавляет покупателям за отдельные 10 франков. Погасили, когда уже немало так разослали. То, накануне выхода «Телёнка», Морозов, не спросив и не известив, отдавал его большими кусками в «Новое русское слово», суетливую ежедневную неграмотную газету в Штатах. После всего такого — предполагаемое собрание сочинений я решил было отдавать «Посеву», гораздо крепче организованному, хотя марка «Посева» затрудняет распространение книг в СССР. (Очень сопротивлялась Аля: ни за что не уходит из «Имки»! она её почти боготворила со студенческих лет, по приходящим редким духовным книгам. Всё же часть публицистики в тот год я издал в «Посеве».)

«Телёнок», как он дописался после высылки, должен был появиться вот-вот. Есть много опасностей — и творческих, и личных (а на Западе — и судебных, как выяснилось) — в печатании слишком свежих воспоминаний, в том числе и потеря пропорций, и потеря дружб. Л. К. Чуковская отозвалась «по левой» из Москвы, что это ошибка моя была, мемуары не должны так печататься, надо всему остыть. Другие приятели из Москвы шутили, что я «оставляю своим будущим биографам выжженную землю» (и в шутке есть правда: пока вот успеваю не оставить прожитого в хламе). А я считаю: тут верный срок угадан, «Телёнку» никак было невозможно остывать, это не мемуары, а репортаж с поля боя. Вот нынешнему второму тому Очерков придётся, наверно, полежать и полежать.

Предвидя в Канаде долгие поиски места и долгую потерю рабочего времени, а ещё и по свежести цюрихских впечатлений, я спешил именно сейчас написать, кончить ленинские главы. Включая «Март Семнадцатого» их набралось теперь, по обилию материала, больше, чем ранее предположенных три, возникала самостоятельная картина, и даже гораздо самостоятельней, чем уютут они потом в Узлах, — да и когда ещё то «Красное Колесо»? За годами.

Работать мне на цюрихской квартире было по-прежнему шумно, тесно, невозможно — и я опять уехал в горы, всё в тот же Штерненберг, один раз на две недели, другой — ещё на три. Как все старые крестьянские швейцарские дома, и этот имел часть комнат неотопливаемых, с расчётом на холодный сон в слабоморозные ночи с распахнутыми окнами, нестарые люди в большинстве спят тут так. Сперва это мне казалось диковато — входить в морозную спальню, но потом я привык, и пристрастился, и стало это моей привычкой, наверно, на всю жизнь, уже и при 25-градусном морозе в Вермонте. За ночь наглотавшись свежего воздуха, днём и не нуждаешься никуда выходить гулять, сидишь и работаешь день насквозь. А напоминала мне эта одинокая зимняя работа — мою работу в Эстонии над «Архипелагом», и как там я урывал в лунную ночь выйти и ощутить мир — так и в Штерненберге, при луне, уже поздно ночью, бравивал с палкой по снежным горным тропинкам и не наглядывался суровостью этого провалистого и взнесенного пиками пустынного лунного пейзажа. На таком пейзаже — где в заливе лунного сияния, где с резкими чёрными тенями гор и деревьев — мне и запомнилась та моя исполгающая выработка над Лениным до последних сил и где-то тут, между горами, его мятущийся чёрный дух. А в рабочей комнате прикинул я к деревянной стене, чтобы зримее ощущать непрерывно, — портрет Ленина, один из самых зловещих, где он и воплощённый дьявол, и приговорённый злодей, и уже

смертельно больной. (Придумал, чтобы на всех мировых изданиях этот портрет был на обложке. В русском издании портрет сослужил дурную службу: до того ненавидели его старые эмигранты, что такую книгу даже в дом внести не хотели. У нас, советских, отношение к Ленину — одомашненно-юмористическое, у эмигрантов — зачуранье.)

Работал — совершенно весь отдавшись, ощущал себя на главном, главном стержне эпопей. В эти пять недель в Штерненберге меня работа захватила настолько, что я потерял ощущение современного момента, знать его не хотел, и как он там меня требует или вытягивает к себе. Даже обычные известия по коротковолновым станциям перестал слушать. Из горы собравшихся материалов рос и рос, вровень Ленину, прежде не задуманный Парвус, с его гениально простым же планом разломать Россию сочетанием революционных методов и национальных сепаратизмов, более всего украинского: в лагерях российских военнопленных создавать для украинцев льготные условия и поджигать в них непримиримость к России. (И План — удался! Никакая Британская Империя не могла раньше осуществить такого: не решились бы на революционный огонь.) Но возникла для меня трудность: как *встретить* Парвуса и Ленина в 1916, дать им прямой диалог? Такая встреча их была, но в 1915 в Берне, я же опусывать 1915 год отказался. А в 1916 в Цюрихе — не было личной встречи, лишь обмен письмами. Тогда — изневоли — я отступил от обычного реализма и применил фантастический приём, как бы дать переписке перетечь в диалог, ввёл чертовщину: посланец не только привёз письмо, но и самого уменьшенного Парвуса в бауле. Приёмом его распухания, вылезания, а после разговора исчезновением — фантастика и исчерпывалась, весь диалог Ленина—Парвуса и столкновение их мыслей и планов даны реально и в полном соответствии с исторической истиной.

И вот, за пять недель я кончил — завершил почти до готовности в печать — все цюрихские ленинские главы, их оказалась не одна, как написал в Москве, а десять. Ощущение было, что взял сильно укреплённую высоту.

После этого в Цюрихе хотелось поблагодарить и попроситься с Платте-ном-младшим, Мирославом Тучеком из Социалыштелле и Вилли Гаучи, автором обстоятельной книги о Ленине в Швейцарии. Я предложил пойти в один из ресторанчиков, связанных с Лениным. Пошли в «Белого лебедя», сели за свободный стол — и вдруг прямо перед собой на стене я увидел... портрет Ленина! так и заставили его быть свидетелем торжества над ним самим...

Ну, спасибо, милый Цюрих, — поработали мы славно.

Та весна была ещё тем тяжела, что кончались обманутые Вьетнам—Лаос—Камбоджа, западный мир — как никогда слаб и в отступе. А теперь, когда хорошо у меня шла работа и всё увереннее я выходил на свою твёрдую дорогу — мучило меня, что я не использовал своего особого положения, своего ещё крепкого на Западе авторитета, чтоб этот Запад очнуть и подвинуть к самосохранению. И (не по памяти, а записано у меня как удивительное): 20 марта 1975, в четверг первой недели Поста, стоял я на одинокой трогательной службе в нашей церковке и просил: «Господи! просвети меня, как помочь Западу укрепиться, он так явно и быстро рушится. Дай мне средства для этого!» Через полтора часа прихожу домой, Аля говорит: «Только что звонили из Вашингтона, *час назад* Сенат единогласно проголосовал за избрание тебя почётным гражданином США». (Это — уже второй раз, в обновлённом составе, пересиливая сменённую палату представителей, которая затормозила первое избрание.)

И я понял так: что надо действовать через Соединённые Штаты, и даже в этом году. Ну, да я ж в ту сторону и ехал.

По нашей задумке было — что я уже в Европу не вернусь: найду в Америке землю-дом, куплю, там сразу и останусь работать, чтоб не остывало. А тебе, Алюня, ещё раз одной семью перевозить. Тяжко? ещё бы не тяжко. Да главная трудность нашего переезда была: что устройство — громоздкое, долгое, и все стадии его, от поисков участка, покупки, достройки, обгородки и сам переезд,

должны пройти в тайне от КГБ: оно не должно узнать прежде поры. В стеснённом Цюрихе, где до каждого соседнего дома было 15 метров, мы ни под потолками, ни во дворике называть имена и дела не решались. Любой подозрительный приезжий подходил к заборчику, подзывал детей или приставал к нам. Да через низкий наш заборчик и перескакивали. КГБ и за пределами Союза была очень распространённая и действенная сила, доставательней, чем это казалось европейцам. А в Швейцарии они кишели гнёздами. И телефонные разговоры через океан уже многие подслушивались Советами, значит, мне из поездки и разговаривать не обо всём открыто.

И до этого моего последнего отъезда оставалось мне жить в Европе — один апрель. А ведь мы так мало ещё повидали за вечной работой! А ещё ж надо и выступить на прощанье в Европе. Решили, что это — в Париже, где в начале апреля выходит французский «Телёнок».

На этот раз во Францию мы отправились с Алей на автомобиле, чтобы лучше посмотреть страну. Языка мы не знали оба, но часть пути шла по Швейцарии и Эльзасу, выручал немецкий, а позже мы должны были встретиться с Никитой и Машей Струве. В несколько дней вместились много. Пасмурным утром побродили в устоявшейся угловатой древности Базеля. Потянулись малыми и просёлочными дорогами вдоль Рейна, смотрели доты линии Мажино, в приречной тихой долине у самого Рейна ночевали в Санде, в гостинице — крестьянском доме. Первые же часы во Франции почувствовали мы освобождение от какой-то утомительной обязательности, сковывающей в немецкой Швейцарии. И ещё — эта полупустота пространств, в заброшенном грязном леске — вдруг мусорная куча (Швейцария б такого не выдержала час!), — простота, которой не ждёшь от Европы, да незаселённость, которой из Союза вообразить нельзя: нам оттуда представляется вся Европа сгустившимся людским роем. Нарядный острый лёгкий разнообразный Страсбург, пересечение французского и германского духа (для европейского парламента вряд ли лучше и придумать место). Обаятельное игривое Нанси с дворцовой площадью лотарингских королей, королевским парком и бульваром лихих балаганов (мы попали на день ярмарки). Всего двух таких провинциальных городов уже довольно, чтобы почувствовать: только та и страна, какая не исчерпывается своею столицей, и даже Франция, о, далеко не вся — Париж. (А ведь и у нас в России сколько было независимых городов! Надеюсь — будут ещё.) С Францией я испытал ошибку, противоположную швейцарской: насколько там должно было мне всё подойти, а почему-то не подошло, настолько Францию, живя в СССР, я всегда считал себе противопоказанной, не по моему характеру, куда чужей Скандинавии, Германии, Англии, — а вот тут стало мне ласково, нежно, естественно, — если жить в Европе, то и не нашёл бы лучше страны. И даже вовсе не соборы грозные — Реймса, Шартра, Суассона, и не дворцы Версаля и Фонтенебло, но медленная жизнь крохотных безвестных городков, но благородно-мягкие рисунки полей, лесков с омелами, серый камень длинных садовых оград, да всё непридуманное французское земляно-серое каменноустройство. Близ Шантийи на Уазе мы ночевали в густо туманную ночь, совсем рядом иногда тархтели плечами баржи, — уединённое мирным охватом, отдыхало сердце совсем как на родине. И, может быть, особенно прелестна мягко-холмистая восточная Франция. (На обратном через неё пути нельзя было не заметить на холме грандиозного — как почти уже нерукотворного — креста. Мы свернули — и вскоре оказались у могилы де Голля, надо же! Охранявшие полицейские узнали меня — и потом корреспонденты дозволивались в Цюрих: что хотел я выразить посещением этой могилы?) Разделяли — скорей исторические места: в фортах Вердена или грандиозном погребалище — сердце щемило: а у нас? как легко и сколько, и совсем безнаградно. Побывали мы на кладбище русского экспедиционного корпуса под Мурманом: могилы, могилы, могилы. (Встречал нас бывший прапорщик того корпуса, теперь дьякон кладбищенской церкви Вячеслав Афанасьевич Васильев. Была при нас и вечерня там.) По какому государственному безумию, в какой

неоглядной услужливости посылали мы сюда истрачивать русскую силу, когда уже так не хватало её в самой России? зачем же наших сюда завезли погибать?

В Компьенском лесу — отказала французам ирония: сохранена обстановка капитуляции немцев в 1918 — и ни полунамёка, как обратный спектакль был повторён в 1940.

Я-то знал, что не только знакомлюсь, но и прощаюсь. Если на Новый год мы с издательством «Сей» ограничились, в их подвале, давкой корреспондентского коктейля, с безалаберными вопросами и ответами, так что с собственными переводчиками не осталось минуты познакомиться, — то теперь, не торопясь, я встретился и с ними.

Насколько несчастлив я был со многими переводами на многие языки (и многих уже не проверить при жизни) — настолько счастлив оказался с переводчиками французскими. Человек семь-восемь их оказалось, все друг со другом знакомые, все — ученики одного и того же профессора Пьера Паскаля, и близких выпусков, все — достаточно осведомлённые о советской жизни и её реалиях, не небрежные ни к какой неясной мелочи и, кажется, все — изрядные стилисты в своём родном. Единство же их обучения приводило к значительному сдружеству переводов. Французских переводов я и приблизительно не мог бы оценить, но многие знающие, и первый Н. Струве, — очень хвалили. А благодаря тому, что не через единую голову нужно было пропустить всю эту массу страниц кипучих лет — распределённые между несколькими, они появлялись быстрой чередой, без пропуска, почти вослед за русским, и так стала Франция единственная страна, где книги мои успевали и работали в полную силу. Именно Франция, закрытая мне по языку для жительства.

Руководители «Сёя» Фламан и Дюран стали теперь в Париже и главные мои гиды в общественном поведении. По их совету и устройству я дал пресс-конференцию в связи с выходом французского перевода «Телёнка» и участвовал в сложной телевизионной передаче «Апостроф», где были в диспуте человек шесть литературных критиков. Фламан разумно предостерег меня: не дать сыграть на мне внутренней французской политике, к чему и будут все тянуть, ни на минуту не забыть мировое измерение художника и положение свидетеля между двух миров.

Пресс-конференция опять мало удалась: разговор дробился, стержень — не получался*.

А день телевидения выдался у меня очень тяжёлый: днём — встречи, всё время на ногах, бродьба по Парижу, где-то протянуты часы до позднего начала передачи, голова разболелась, — пришёл я вялый в эту огромную студию, похожую на цирковые кулисы, сотни людей, гул, неразбериха. В этой же толчее усадили нас семерых за столом, настроенный социалист Жан Даниэль из «Нувель обсерватёр» против как бы рассеянного, не мобилизованного на диспут правого, Д'Ормессона, остальные тянули каждый что своё. Я сидел с опущенной головой, без воодушевления и даже с отчаянием от этой их перепалки, уже усталый от их комичных схваток, с неохотой отбивая «классовые наскоки» социалиста и обезнадёженный добраться до настоящего разговора. А прошло выступление** — поразительно удачно, по единодушным отзывам. Именно это спокойствие и безнадежная ирония были восприняты как самое достойное представительство России. Не всегда наибольший напор даёт наилучший результат. Знакомство с Францией произошло отлично — настолько, что передачу, уже в ходе её, увеличили на 20 минут против расписания. Было много потом газетных откликов и писем.

Да уже — и уезжать. (Ещё какие-то внезапные, но обязательные дела. К каким-то крупным физикам-математикам ездили на частную встречу: ободрять в их намерении защищать советских инакомыслящих. До чего унизительна,

* «Публицистика», т. 2, стр. 234 — 260.

** Там же, стр. 261 — 281.

надоела — а до поры неизбежна — эта жалкая наша поза: «Защитите нас, свободные западные люди!» Были, нет ли от того последствия, — не знаю.)

Никогда не хватало в жизни времени — не хватало его и теперь, до отъезда за океан. Как же, быв так близко к Италии, на неё не глянуть? Аля ехать не может: только что два раза отлучалась со мной, а бабушке тяжело одной с четырьмя внуками. Виктор Банкул, наш новый друг, взялся устроить мне такую поездку: за 4 дня пронестись по части Италии и южной Франции. Сын русских эмигрантов, родившийся в Абиссинии; уже сиротой кончавший французский католический колледж в Бейруте, а потом университет; превосходно знающий пять главных европейских языков, а кроме того чёткий в действиях, осмотрительный (все ли замки автомобиля заперты — обойдёт два раза), Виктор Сергеевич подарил мне эти редчайшие для меня дни — чистого отдыха безо всякой цели, даже безо всякой задачи глазам и наблюдению, а если что и записывает перо, то механически, от вечного разгона.

Маленькая Брешиа, о которой, кажется, и не слышал никогда, — а в ней ротонда с подземной базиликой первых веков христианства, и вот диво: насколько русскому сердцу родней и ближе романская архитектура, чем готическая с её подавляющим холодом, — тоже христианство, да, понимаю, а — чудное (да ещё теперь — с динамиками в высоте колонн). В тесноте сгруженного города (губящий сизый дым на узких улицах, клубы дыма из тоннеля, прорытого в холме) — вдруг открывается высокий полуразрушенный Веспасианов храм, и вьются листочки по сохранившейся стене, в углублениях выпавших кирпичей — голуби, а на древней римской мозаике с удивлением видишь свастику, была уже тогда. И тут же — откопанный театр, откопанные римские дворы.

Веронские шекспировские обязательные места. В Вероне — памятник варварски брошенной в 1915 одной бомбе с самолёта, — того ли с тех пор навидались? А я, натерпясь от сизого дыма и грохота среди старины, мню и другую мраморную тут эпитафию, от себя: «Здесь в 1975 советский варвар застрелил свободного итальянского мотоциклиста». (А свобода их — ездить навстречу одностороннему движению, «под кирпич», двигаться при красном светофоре, — а бывает, итальянский красный светофор даёт и три зелёных стрелки: вообще — красный, ходу нет, но при этом можно: и направо, и налево, и прямо. Много мы смеёмся. Не прошёл поезд — уже подымается железнодорожный шлагбаум, мы переезжаем — и видим, что поезд на нас катит.) Ещё странно видеть взрослых мужчин, собирающихся и галдящих по-бабьему. Юноши в обнимку — как девушки. (Вспоминаю: в Ростове-на-Дону тоже была такая манера.) А девочки перед школою заходят в церковь на 10 минут, всё-таки!

Та самая Венеция волшебная, чьего не дразнившая воображения! Но большие каналы забиты (и загазованы) речными трамваями, моторками-такси, а все углы подавлены сувенирными ларьками. Сегодня, мне кажется, уже и не гондолы отличительная особенность Венеции, не обрывы запертых дверей на каналы — но заповедный и недоступный автомобилям центр Венеции, уже непредставимое счастье города, по которому не может ездить ничто гремящее, дымящее, а только ходят пешком, по солнечным плито-мощёным площадям, — даже есть где и кошкам бродить. Но, увы, от радиодинамиков не спасёшься нигде. Не туристский сезон, начало апреля, но на площади св. Марка и в залах, залах Дворца Дожей — многолюдье. О Боже, что же тут делается в сезон и в какую тяжёлую повинность обратился туризм! На Адриатическом побережье, дальше, эта повинность выросла небоскрёбами, механизированными курортами («пляж наций»). Пожалуй, на морских курортных побережьях, как нигде, ощущаем мы, как же нам тесно стало на Земле, как много нас, как не хватает уже морского песка нам, извергаемым городами.

А Равенну всего лучше смотреть рано утром, когда никого нигде ещё нет, редкие дворники метут, воркуют голуби, можно вообразить жизнь прежних веков. Мавзолей императрицы римской Галлы, розово-оранжевым проходит свет

через тонко-каменные пластины, смерть воспевается как восхождение к Богу. О, как давно мы живём, человечество. Итальянская лучшая древность везде испещрена современным процарапом, нараскою серпов-молотов да лозунгов, да угроз: «полиция — убийцы!», «христианские демократы — фашисты, смерть им!», «фашистская падаль — вон из Италии!». Между колоннами: «Да здравствует пролетарское насилие! да здравствует социализм!» (Отпробовали б вы его!) И твёрдыми словами, но без уверенности: «Абсолютно воспрещено входить в собор с велосипедами». — Могила Данте в виде часовни. — И митинг: «Португалия не станет европейским Чили».

Ещё из унылой приморской низменности задолго маячит как нарочно поднятая крутая гора с четырьмя зубчатыми замками. Сан-Марино! — горно-замковые декорации, превзошедшие меру, уже поверить нельзя, что это строилось не для туристов. — И вскоре же — совсем пустынные, безлесые, неплодородные сухо-солнечные Апеннины, и стоит на горке скромный сельский каменный запертый храм *Santuario Madonna del Soccorso* (Святылище Мадонны-помощницы) — и ни селения рядом, как храмы на Кавказе: кому надо молиться — прикарбаются, придут. Все Апеннины бедны водой, бедны почвой — но ни в одном селении ни единого лозунга, этим забавляются только города.

Вот во Флоренции мы увидим опять во множестве: «ленинский комитет», красный флаг из окна, красный серп и молот, намазанный на церковной двери (куда ещё дальше?), «наша демократия — это пролетарское насилие!», «фашистские ячейки закрывать огнём — и даже этого слишком мало!». Ещё в ресторане «У старого вертела» нам подают мясо по-флорентийски — целое зажаренное ребро под белой фасолью, но по ходу лозунгов и митингов мнится нам, что это — уже последние дни перед революцией или захватом, и скоро не будут здесь подавать мясо такими кусками. Я прощаюсь с Европой не только потому, что уезжаю, — я боюсь, что мы все прощаемся с ней, какой мы знали и любили её эти последние века. Флоренция доведена до такого мусора и смрада, что даже и ранним утром производит впечатление грязное и беспорядочное. (Да ведь это и при Блоке начиналось, он заметил: «Хрипят твои автомобили, / Твои уродливы дома, / Всеевропейской жёлтой пыли / Ты предала себя сама».) И в этом мусоре осквернённым кажется буйный разгул грандиозных скульптур перед палаццо Веккио. Одно спасение — квадратные замкнутые дворики, и тут ходят, ходят кругами в монашеской черноте, не выходя в оголтелый город. В тесноте Флоренции храмы настроены непомерной величины — и пусты.

Ещё немного спуститься по карте — Сиена, уже не так далеко и Рим, — и когда же увидеть их? Никогда. Не хватает единого лишнего дня, как не хватало во всей моей прогонной жизни. Во всё путешествие нет свободной души, чтобы наслаждаться красотами, даже вот сойти с машины и пройтись по роще пиний, под зонтиками их единого тёмно-зелёного свода. Сколько впечатлений тут можно набрать! — а мне не нужно? а меня не питает? Такое чувство, что я не имею права даже на это четырёхдневное путешествие: и по времени, и потому, что *не к этим* местам уставлен мой долг и внимание, — там, у нас, погибает всё под глыбами, и меня давят те жернова.

Мы поворачиваем на Пизу, не пропустить в наклонной башне то слишком крутых, то слишком падающих ступеней, на Рапалло — и отсюда я начинаю узнавать наш Крым. Дьявольским виадуком минуем дьявольски дымную Геную и — всё более и более пригорное побережье походит на наш Крым, только горы здесь пониже, а курорты обстроены лучше, хотя опять же коробки небоскрёбные, а о морской синеве ещё поспорить. Всё время ощущение подменённости: позволте, ведь я всё это уже видел! Высокой скалистой приморской дорогой, с перевалами и тоннелями, перетекаем на Лазурный берег.

Ментона, Монте-Карло, Ницца — кто здесь не побывал из героев счастливой дворянской литературы! — и кто не побирался из несчастной русской эмиграции потом... Ох, много, много наших стариков дотягивало здесь свои старые северные раны при южном солнышке под пальмами и в нищете. И от-

пето их здесь, в русском храме на *Avenue Nicolas II* — единственная в мире короткая улочка, которою и сегодня почтён злосчастный государь. Не придумать более для меня нелепого вечера, как вечер в казино Монте-Карло: три часа тигрино хожу по залам и записываю, записываю, записываю — лица крупье, лица и действия игроков, правила игры. Как понятно, почему писатели так охотно приходили сюда: здесь как будто содрана оболочка психики, и люди не в силах не показать откровенно каждое движение своих чувств, персонажи романов так и теснятся в блокнот при каждом движении карандаша. Мне никогда не может это ничто пригодиться — а я записываю. (Но, писатель, никогда не зарекайся, а всегда запасайся. Чудовищно вообразить, зачем бы мне пригодилось Монте-Карло? — а трёх лет не проходит, и так уместно ложится: ведь будущий убийца Богров тут-то и бродил, примериваясь к жизни!) А вот меня уже узнали, так недолго и до разгласки: вот, мол, где Солженицын прожигает дни! уж как порадуются левые, и без того меня поносящие, что я в Швейцарии поселился, в стране банков. А уеду из Швейцарии — будут носить и за отъезд.

Мы гоним, гоним, почти не останавливаясь, где хотелось бы быть и быть. Сохраняемый в первозданности средневековый городок Сен-Поль-де-Ванс (странно увидеть здесь за витриной «Архипелаги» и уже «Телёнка»), крутые переулки, мощённые морскою галькой. Грасс, где доживал Бунин. Каменистые, малоплодные холмы Прованса, уже сейчас, в апреле, сухие под солнцем, но всюду сизые пучки лаванды, ещё зальёт она лилово-синим эти поля, а душистый её настой и сейчас продаётся проезжим в одиноких придорожных ларьках. Всякому земному месту отпущен свой дар. Столица лаванды — Динь. Дорога Наполеона — как гнал он с Корсики на утраченный Париж. Стоит у дороги кусок старой каменной стены с проломами. Доломали б её и свалили? — нет: в один проём поставили древнюю амфору, и стена зажила как памятник, французский вкус! Или: крестьянский каменный арочный сарай, так и остались видны старые стропила, балки, в более разрушенной части — старые жбаны, крестьянская посуда, в каменное корытце стекает струйка родника, — а более сохранившуюся остеклили по-современному, и в одном помещении сразу — печь, ресторан, тихая классическая музыка, две скромные девушки-официантки, а меню написано в ученической тетрадке от руки. Французский уют!

И оставалось мне в Цюрихе ещё только короткобегучих несколько дней. Да давай же, Алёнь, хоть ребятишек свозим на Фирвальдштетское озеро! В солнечный позднеапрельский день взяли Ермошу с Игоней и погнали туда машиной, там — пароходиком к тому месту берега, где приносилась священная клятва, откуда вышел Швейцарский Союз. Голубой день, голубое многоизгибистое озеро между лесных кряжей. И ещё долгим фуникулёром высокомерно поднимались к Ригихофу — откуда уже и снежные вершины видны, да не в одну сторону. (Малыши мои неизбалованные целый год потом говорили: «Когда мы с папой были в путешествии...»)

Но и это не последнее европейское. Уже два месяца лежало у меня приглашение из кантона Аппенцель — присутствовать на торжественном дне их кантональных выборов, — и главный редактор «Нойе Цюрхер цайтунг» Фред Люксингер убеждал меня, что этого пропустить нельзя, он же теперь нас с Алей и повёз. Мой отлёт в Канаду был в понедельник — а выборы в воскресенье, и так я успевал. Это — маленький горный кантон на востоке Швейцарии, даже их — два Аппенцелля, два полукантона, католический и протестантский, разделились. Мы званы были в католический. Уже обгоняя по дороге пешех (на выборы ходят пешком, ехать считается неприлично), нельзя было сразу не заметить: все мужчины шли с холодным оружием — это знак права голоса, женщины и подростки его не имеют. Собирались и наискось, без дорог, через луга (правило Аппенцелля: до дня выборов можно ходить по лугам, а потом пусть растёт трава). У парней и у девушек многих — серьга в одном ухе.

Уже дослуживали католическую мессу, в храме — не протолкнуться, а вокруг алтаря стояли многоукрашенные знамёна общин. И с весёлых разноцветных шале на главной улице свешивались длинные флаги невиданных рисунков, сочетаний, изображений животных. В ратушном зале приглашённые туда складывали сперва своё оружие, а поверх кидали чёрные плащи. Затем шесть знаменосцев в старинных униформах понесли свои знамёна во главе процессии, и сопровождали их мальчики-ассистенты в униформах же. Затем должностные лица и почётные гости растянутой медленноступной процессией отправились серединою улицы, обстоенной жителями, другие вывешивались гроздьями изо всех окон. Меня встречали все с таким энтузиазмом, как будто я — их коренной, но знаменитый земляк, вот вернувшийся на родину, — а заранее б я прикинул, что глухой кантон скорей всего и имени моего не знает. (Да не только писателя они приветствовали, а война против зла, и это в речи главы правительства было.)

На площади высился невысокий временный деревянный помост, где все должностные лица, десятка полтора, выстроились в одну линию и всё собрание простояли с обнажёнными головами в чёрных плащах. А всю площадь залила плотная толпа *stimmberechtigte Männer* — мужчин, имеющих право голоса, со своим оружием и тоже обнажёнными головами, серыми, рыжеватыми, седыми, но в одеждах обычных. А женщины теснились уже где-то за краями толпы или на балконах и в окнах. Молодёжь на наклонных крышах держалась о заграждения, а один фотограф картинно оседлал конёк крыши. Глава правительства ландаман Раймонд Бругер — с пухом седины на голове, с лицом умственным и энергичным, произнёс речь, поразившую меня: о, если бы Европа могла слышать свой полукантон Аппенцель! или могли б такое себе перенять правители больших стран!

Вот уже больше полутысячелетия, говорил он, наша община не меняет существенно форм, в которых она правит сама собою. Нас ведёт убеждение, что не бывает «свободы вообще», но лишь отдельные частные свободы, каждая связанная с нашими обязательствами и нашим самосодерживанием. Насилие нашего времени доказывает почти ежедневно, что не может быть обеспеченной свободы ни у личности, ни у государства — без дисциплины и честности, и именно на этих основаниях наша община могла пронести через столетия свою невероятную жизнеспособность: она никогда не предавалась безумию тотальной свободы и никогда не присягала бесчеловечности, которые сделало бы государство всемогущим. Не может существовать разумно функционирующее государство без примеси элементов аристократического и даже монархического. Конечно, при демократии народ остаётся решающим судьёй во всех важных вопросах, но он не может ежедневно присутствовать, чтоб управлять государством. И правительство не должно спешить за колеблющимся переменчивым народным голосованием, только бы правителей переизбрали вновь, оно должно не занывные речи произносить избирателям, но двигаться против течения. На деле и по истине задача правительства состоит — действовать так, как действовало бы разумное народное большинство, если бы оно знало всё, во всех деталях, а это становится всё невозможнее при растущих государственных перегрузках. Поэтому остаётся: избрать для совета и правления сколь можно лучших — но и подарить им всё необходимое доверие. Бесхарактерная демократия, раздающая право всем и каждому, вырождается в «демократию услужливости». Прочность государственной формы зависит не от прекрасных статей конституции, но от качества несущих сил. Худую службу окажем мы демократии, если изберём к руководству слабых людей. Напротив, именно демократическая система как раз и требует сильной руки, которая могла бы государственный руль направлять по ясному курсу. Кризис, переживаемый обществом, зависит не от народа, но от правительства.

А стоял на дворе — не рядовой апрель, но тот опасный для Запада (хоть Запад и не понимал) апрель 1975 года, когда Соединённые Штаты убегали из Индокитая. Всего за 10 дней до этого аппенцеллевского собрания сообщала

легковерная западная печать, что «население Пномпеня радостно приветствует красных кхмеров».

И сегодня поразительно было услышать на этой маленькой солнечной площади, в таком глухом уголке, но самой центральной Европы: как сильно выросла всеобщая небезопасность за самый последний год. Что мы ужасаемся тому образу поведения, каким Америка покидает своих индокитайских союзников. Мы ужасаемся судьбе южновьетнамского народа, толпами бегущего от своих коммунистических «освободителей» — и перед этой трагедией озабоченно спрашиваем себя: да сдержит ли Америка свою союзническую верность перед Европой? Перед той Европой, которая, вот, не способна в одиночку сопротивляться советской агрессии и теперь ожидает американской помощи как бесспорной. И именно во время вьетнамской войны в Европе расцвёл антиамериканизм. Надо считать, что Америка в будущем не будет защищать никакого государства, которое не хочет защитить себя само. Европа должна в короткий срок дать доказательства готовности к высоким жертвам и эффективному единению.

И потом уже — критически о Швейцарии, как она находит непомерными свои военные расходы в 1,7% от бюджета. Потом — и об экономике, в которой Швейцария перестала быть страной сказочно-блаженной.

И всё это произнеся, ещё приветствия гостям, — ландаман снял с груди крупную металлическую цепь, знак своей власти, ещё и какой-то жезл передал соседу по трибуне — и быстро круто ушёл. Всё. Он отслужил свой срок.

Но другой чиновник заступил его место — и тут же предложил избрать Брөгера вновь. Предложил голосовать — и вся тесная мужская толпа единым взмахом подняла руки. Не считали, ясно и так: избран вновь. (Тут я про себя подсмехнулся: ну, демократия, *как у нас*.)

Брөггер снова появился на прежнем месте и, подняв пальцы одной руки, громко вслух за чтецом повторял клятву. Снова надел цепь на грудь. И стал теперь читать клятву для толпы — и толпа повторяла хором: клялся сам народ себе!

Затем ландаман стал возглашать членов своего правительства, всякий раз спрашивая, кто *против*, но не было никого, да как будто и мало секунд он оставлял для возражений. Я про себя продолжал посмеиваться: опять *как у нас*. Но тут же я был и вразумлён. Главный первый закон, который хотел провести ландаман, — налоговый, повысить налоги, кантон не справляется с задачами. Пошёл гул по толпе, переговоры между стоящими. На трибуну взошёл и пять минут говорил один оратор — против предлагаемого закона. Затем министр финансов хотел аргументировать *за*, — загудела толпа, что слышать его не хочет, а желает голосовать. Проголосовал ландаман за закон — совсем мало рук, против — истинный лес. Мужчины энергично выбрасывали руки, было впечатление взмахнутого крыла толпы, подавительная, убедительная сила голосования, какой не бывает при тайных бюллетенях. (А на поясе-то у каждого, в толпе не видно, — кинжал или шпага.)

Ландаман был очень огорчён и, пользуясь, видимо, своим правом, аргументировал сам и потребовал второго голосования. Его почтительно выслушали — и так же подавительно проголосовали: налогов — не повышать.

Глас народа. Вопрос решён бесповоротно — без газетных статей, без телекомментариев, без сенатских комиссий, в 10 минут и на год вперёд.

Тогда правительство выступило со вторым предложением: повысить пособия по безработице. Кричали: «А пусть работают!» С трибуны: «Не могут найти». Из толпы: «Пусть ищут!» Прений — не было. Проголосовали опять подавительно — отказать. Перевес множества был настолько ясный, что рук не считали, да и не удерживать их так долго, да наверно и никогда не считают, а на глазок всегда видно.

И ещё третье было предложение правительства: принять в члены кантона уже живущих в Аппенцелле по нескольку лет, особенно итальянцев. Кандидатов было с десяток, голосовали по каждому отдельно, и отклонили, кажется, всех. Недостойны, не хотим.

Не-ет, это было совсем не *как у нас*. Без спора переизбрав любимого ландамана, доверив ему составить правительство, как он желает, — тут же отказали ему во всех основных законопроектах. И — правь. Такую демократию я ещё никогда не видывал, не слыхивал — и такая (особенно после речи Брогера) вызывает уважение. Вот — такую-то бы нам. (Да древнее наше вече — не таким ли и было?)

Швейцарский Союз заключён в 1291 году, это, действительно, сейчас самая старая демократия Земли. Она родилась не из идей Просвещения — но прямо из древних форм общинной жизни. Однако кантоны богатые, промышленные, многолюдные, всё это утерjali, давно обстриглись под Европу (и переняли всё, до мини-юбок и сексуальных «живых картин»). А в Аппенцелле — вот, сохранялось, как встарь.

Как же разнообразна Земля, и сколько на ней вполне открытых возможностей, не известных, не видимых нам! В будущей России ещё много нам придётся подумать — если дадут подумать.

На следующее утро я улётал в Канаду. Самолётный билет был куплен заранее, но на подставную фамилию (я придумал её — *Hirt* — по портрету чудесного швейцарского старика-пастуха в кабинете штатпрезидента Видмера). Бережёного Бог бережёт. Да я охотней бы — плыл. Переброс через океан за несколько часов — неестественен, не успевают мозги перестроиться, хочется боками своими пробраться через это огромное пространство. Но — на Западе пароходное сообщение вышло из моды, и никто уже не ездит так по делу (и обыкновенная почта идёт по морю полтора месяца, дольше, чем при парусных кораблях). Через океан плавают теперь только на пароходах-увеселителях, где мне и места нет, и показаться противно. А пароходство Европа—Канада — и вовсе утеряно Западом: вытеснили их польские и советские пароходы с дешёвой прислужкой и дешёвыми услугами. Мне — чтобы переплыть в Канаду, надо было бы на несколько дней вернуться на территорию коммунизма.

Летел я в настроении расстроенном и возбуждённом. С одной стороны, я летел (и много вещей своих личных вёз и часть рукописей) — чтоб уже не возвращаться. Найти дом в канадской дикой глуши, совсем уйти, отвернуться от дёргающего мира — и только писать, писать — не куда-то на дачу отлучаясь для этого на недельки, а — дома, сидя и непрерывно. Мне было уже 56 лет, а ведь вся главная работа по «Красному Колесу» ещё даже не начиналась. Слишком динамичная моя жизнь при всех её внешних успехах как бы не сдвинулась в поражение в главном жизненном замысле.

А с другой стороны: катились огненные дни вьетнамской капитуляции, а ни Америка, ни Европа не понимали, насколько в эти дни пошатнулось их будущее. Вот и ландаман Аппенцелля по своим возможностям говорил мужественно и открыто своему континенту — но ведь его не услышат. Я провёл в Европе суматошнейший год, так нигде и не укрепясь, не упрочась, всё в перекате, — а кроме издания «Архипелага» что я, собственно, сказал? Конечно, понимающему — и того слишком довольно, но многие ли в Европе дерзают быть понимающими? И вот сейчас во Франции — много ли я успел сказать? истинный мой долг — работа, и это вовсе не самоограждение, когда я отвечаю, что я — не политик. Я не хочу дать заташить себя в непрерывные политические дискуссии, в череду ненужных мне вопросов. Но хочу сам избирать и эти вопросы, и время выступлений. Темперамент тянет меня вовсе не самоустраиваться, не только не скрываться в глушь, а напротив: войти в самое многолюдье и крикнуть самым громким голосом.

В ближайшие часы это противоречие решилось так: улётая за океан, как я думал окончательно, — я за эти семь часов перелёта написал начерно и переписал набело статью «Третья Мировая?..»*.

* «Публицистика», т. 1, стр. 225 — 228.

Как не увидеть? Сперва подарили коммунизму Восточную Европу, теперь сдают Восточную Азию, не препятствуют ему вклиниться на Ближнем Востоке, в Африке, в Латинской Америке, — вот так-то, всё опасаясь Большой войны, немудрено сдать и всю планету. В благополучии — как трудно быть непреклонным и готовым на жертвы.

Уже зная ненадёжность канадской, ещё и вечно бастующей, почты, отдал письмо со статьёй швейцарцу-стюарду, чтобы он вернул его в Швейцарию в эти же сутки.

А вот уже под крыльями — Америка.

Осень 1978

ПРИЛОЖЕНИЯ

[1]

ИНТЕРВЬЮ С КОРРЕСПОНДЕНТОМ АССОШИЭЙТЕД ПРЕСС ФРЭНКОМ КРЕПО

Цюрих, 18 февраля 1974

Ф. К.: Как вы себя чувствуете в изгнании?

А. С.: Вероятно, человек во многом похож на растение: когда вырывают с места и забрасывают далеко — нарушаются сотни корешков и питающих жилок. Все дни и каждую минуту ощущаешь нехватку, необычность, ощущаешь себя — не собою самим. Но я не думаю, что это безнадежно. Даже старые деревья — и те ведь пересаживают, и они принимаются на новом месте.

Ф. К.: Как вас встретили на Западе?

А. С.: Исключительно тепло, дружелюбно, даже горячо — и население и власти. В Германии приходили приветствовать даже группы школьников, в Цюрихе шлют привет многочисленные прохожие, встречные. Я ошеломлён таким вниманием, никогда не испытывал подобного. Правда, в этом есть и изнурительная сторона: назойливая слежка со стороны фото- и кинорепортёров, фиксирующих каждый шаг и движение. Это — другой полюс той неотступной, но скрытой слежки, которой я постоянно подвергался у себя на родине. Тоже очень неприятно.

Ф. К.: Когда вы ожидаете приезда вашей семьи?

А. С.: Если верить заявлениям членов советского правительства, мою семью выпустят без помех. Но без моего участия двум женщинам с четырьмя детьми не легко ликвидировать многолетний быт, собираться, подняться, найти момент, когда никто из детей не болен.

Ф. К.: Как на новом месте пойдёт ваша литературная работа?

А. С.: При всех переменчивых и тяжёлых условиях я вёл литературную работу постоянно, без перерыва даже на неделю. Как ни больно, как ни горько начинать эту работу здесь — буду вести её и здесь. Но *направление* её зависит от того, насколько беспрепятственно советские власти выпустят мой литературный архив — почти уже готовый Узел 2-й «Октябрь Шестнадцатого», начатый 3-й Узел и обильные заготовки материалов, документов, рассказы очевидцев, фотографии, иллюстрации и многочисленные редкие книги с моими пометками. Архив этот я собирал с 1956 года и вложил в него огромный труд. Если советские власти конфискуют его, хотя бы даже частично, это будет духовным убийством. В этом случае мне, очевидно, придётся отказаться от главного замысла моей жизни — исторического романа времён революции. Повторить сбор такого архива я уже не в силах. Но тогда оставшиеся мои годы и силы вместо русской истории я направлю на советскую современность, для которой я не нуждаюсь ни в каких архивах.

Ф. К.: В какой стране вы предполагаете обосноваться?

А. С.: Меня весьма радушно встретила Швейцария, я получаю дружеские приглашения из скандинавских и некоторых других стран. Я сердечно благодарен всем приглашителям. Решение будет зависеть от того, где я смогу в короткое время най-

ти себе достаточно просторное, тихое жильё с землёю, удобное для работы и жизни. Все свои 55 лет я жил бездомно, тесно, не мог совместить рабочие условия и жизнь с семьёй. В наступающие годы хотя б это я хотел бы устроить.

Ф. К.: Как вы думаете, надолго ли вы обречены жить вне родины?

А. С.: Я — оптимист от природы и не ощущаю своё изгнание как окончательное. Предчувствие такое, что через несколько лет я вернусь в Россию. Как это произойдёт, какие условия изменятся — я не могу предсказать, но люди и ничего не умеют предсказывать, а чудеса неизменно чередой совершаются в нашей жизни. Последние годы жизни в России я почти уже был и лишён родины: давление и слежка КГБ, противодействия властей на всех инстанциях не давали мне возможности ни ездить по местам действия моего романа, ни опрашивать очевидцев. Однако, я уже говорил когда-то и повторяю теперь: я знаю за собой право на русскую землю несколько не меньшее, чем те, кто взял на себя смелость физически вытолкнуть меня.

[2]

РЕЧЬ СЕНАТОРА Дж. ХЕЛМСА В СЕНАТЕ СОЕДИНЁННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ

Вашингтон, 18 февраля 1974

Господин Председатель, 12 февраля известный русский писатель и интеллектуальный лидер Александр И. Солженицын взят был силою и уведен со своей квартиры семью агентами советской полиции, которые повезли его на допрос. Сначала его семье даже не сообщили, куда его увозят и какие обвинения выдвинуты против него. Но весь мир знал, что Солженицын шёл на эту конфронтацию и даже приветствовал её, несмотря на опасность и для семьи его и для единомышленников.

Дело это — дело свободы: свободы думать, писать и публиковать. Это также отстаивание права не соглашаться с тоталитарной идеологией, отстаивание права свободного передвижения для тех, кто пойман в ловушку тоталитарного строя. Все эти права представляют собой первоосновы свободного общества.

Несмотря на отсутствие этих прав в Советском Союзе и даже несмотря на агрессивную кампанию против него, Солженицын не хотел уезжать со своей родины. Он хотел использовать своё выдающееся дарование для того, чтобы улучшить положение своих сограждан. Он говорил как ветхозаветный пророк, избличая зло, которое он видел в больном обществе. Пророчество его приняло форму литературную, которая пробудила миллионы людей во всём мире и дала ему Нобелевскую премию. Но в тайниках он сохранил самый уничтожающий изо всех его трудов, вдохновлённый многочисленными голосами страдания, к которым он прислушивался на этапах и в тюрьмах и которые запечатлелись у него в памяти. Голоса эти были удушены: это были голоса из могил. Как ни странно, именно эти голоса умирающих и умерших заставляли Солженицына продолжать жить. Чтобы скрыть свою грязную тайну, мучители прибегли именно к тем методам, которые он распознал и высветил в их политической системе. Допросами и пытками они добыли экземпляр «Архипелага». На это Солженицын ответил публикацией книги на Западе с другого тайного её экземпляра. И тут враги стали надвигаться на него шаг за шагом, всё туже стягивая зловецкий круг.

Пророков не чтут в своём отечестве. Но этот пророк был слишком широко известен, чтобы можно было просто заставить его исчезнуть во тьме, как бесчисленные тысячи жертв до него. Сам Солженицын в своей произнесенной Нобелевской лекции сказал, что одно слово правды весь мир перетянет. И вот его книги перевесили всю ту систему. Солженицына лишили советского гражданства, посадили на самолёт и выслали в Западную Германию.

Солженицын не хотел быть свободным в Западной Германии. Он хотел быть свободным в России. Хлеб изгнанника всегда горек. Для него важнее, чем его собственная свобода — свобода миллионов людей, живущих под советским владыче-

ством. Изгнание его — дальнейший шаг в долгой кампании запугивания и угроз, которую советская власть ведёт против Солженицына за то, что он стал живым символом инакомыслия в Советском Союзе, мужественным свидетелем правды советской истории и последствий коммунистической идеологии.

Но слова его важны не только для совести народов России; они важны для совести всего мира и особенно для совести Соединённых Штатов как лидера некоммунистических наций. Его лишили гражданства, но он стал гражданином мира. Он — воплощение трепетной надежды всех тех, кто жаждет смягчения жёстких позиций в разделённом на две части мире, ослабления ограничений творческой мысли и творческой деятельности, наступления эры мира и свободы для нас и наших детей.

По этим причинам, господин Председатель, я намереваюсь завтра представить Сенату совместную резолюцию, которая позволит и обяжет Президента Соединённых Штатов объявить манифестом, что Александр И. Солженицын становится почётным гражданином Соединённых Штатов Америки.

Господин Председатель, вот текст совместной резолюции, который я предложу завтра:

«Совместная резолюция.

Постановлено Сенатом и Палатой Представителей Соединённых Штатов Америки, объединёнными в Конгрессе, что Президенту Соединённых Штатов сим дозволяется и повелевается объявить манифестом, что Александр И. Солженицын становится почётным гражданином Соединённых Штатов Америки».

Это — очень простая резолюция, не украшенная излишней риторикой и предлагающая очень высокое оказание почёта. По-моему, это — самая большая честь, какую может оказать наша Республика. Такую честь нельзя оказывать легкомысленно или по причинам преходящего момента. В то же время она не возлагает на Солженицына никаких обязательств и никак не меняет его положения по отношению к его родине. Юридически он — человек без гражданства. Он не ищет этой чести, так же, как не искал он Нобелевской премии. Он не должен ни принимать её, ни отклонять. Но Соединённые Штаты таким образом торжественно записывают в мировые анналы, что почтили его за его вклад в дело свободы человечества.

Нам необходимо срочно сделать этот жест. Солженицын на Западе, а семья его — нет. Друзья его — под властью тоталитарного строя. Миллионы людей следят за тем, что сделают Соединённые Штаты. Сам Солженицын обнажал «дух Мюнхена», который будто пронизывает отношения Соединённых Штатов с Советским Союзом, и нашу безнравственную политику закрывания глаз на репрессии, лишь бы можно было сговариваться о товарах, о торговле, о разоружении.

Он сказал: «Дух Мюнхена несколько не ушёл в прошлое, он не был коротким эпизодом. Я осмелюсь даже сказать, что дух Мюнхена преобладает в XX веке. Оробелый цивилизованный мир перед натиском внезапно воротившегося оскаленного варварства не нашёл ничего другого противопоставить ему, как уступки и улыбки».

Древние пророки всегда заставляли людей неудобно себя чувствовать: это было их долгом. Солженицын говорит нам, что единственное прикрытие насилия — это ложь, а те, кто сговаривается с насильниками, — тоже лжецы. Его жёсткие суждения и его прямой тон вынуждают нас занять позицию. Сейчас мы только и можем сделать это, оказывая ему великую честь в признании его свидетельства за правду.

Господин Председатель, я хотел бы сделать ещё несколько дополнительных замечаний о предварительной истории этой инициативы. В прошлом уже принимались подобные решения, когда граждане других стран сражались рядом с нами за общую свободу. Честь эта оказана была Лафайету и Уинстону Черчиллю. Солженицын, лауреат Нобелевской премии, ценой большой опасности для себя, жертвенно и достойно служил делу свободы.

Когда честь эта была оказана Лафайету, это, конечно, не было сделано решением Конгресса, поскольку Конгресс тогда ещё не существовал. Решение было принято законодательными палатами Вирджинии и Мэриленда во времена Статей Конфедерации.

Сэр Уинстон Черчилль получил почётное гражданство манифестом Президента Кеннеди вследствие постановления Конгресса в 1963 году. Отчёт Юридического комитета представил юридические последствия — или скорее их отсутствие, — когда акт был предложен на голосование. Текст моей резолюции совпадает с резолюцией о Черчилле, и поэтому к ней применимы все те же соображения.

Из чтения этого отчёта ясно, что в таком случае неприменимы юридические обязательства гражданства и не возникает никаких налоговых осложнений. Это — чистое оказание чести.

Господин Председатель, хотя эта резолюция и не сделала бы Солженицына настоящим гражданином Соединённых Штатов, но совершенно ясно, что если бы он решил поселиться в нашей стране, это было бы для нас большой честью. Однако, становясь почётным гражданином, он ни в коей мере не обязан здесь жить и не принимает на себя никакого обязательства в этом смысле. Если бы он этого хотел, и только если бы он этого хотел, я готов предложить отдельное постановление, которое даст ему право постоянного жительства в Соединённых Штатах. Это позволило бы ему стать и постоянным гражданином США.

Завтра эта совместная резолюция будет перед Сенатом, и я настойчиво прошу моих коллег добавить свои имена к списку.

Господин Председатель, я прошу согласия на то, чтобы в конце моего выступления был напечатан текст Солженицына «Жить не по лжи», опубликованный в «Вашингтон пост» 18 февраля 1974 года.

[3]

СЕНАТОР Дж. ХЕЛМС — А. СОЛЖЕНИЦЫНУ

1 марта 1974

Дорогой господин Солженицын,

Сегодня я имел удовольствие говорить с Вашим адвокатом доктором Фрицем Хеебом. Я сожалею, что не мог говорить с Вами лично, чтобы приветствовать Вас в свободном мире от своего имени, а также от имени моих друзей в Сенате Соединённых Штатов. Я поздравляю Вас на пороге нового этапа в Вашей борьбе за правду и свободу в Вашей родной стране и во всём мире.

Идеи правды, свободы и справедливости — неразделимы. Права человека одинаково действительны во всех странах и на всех континентах. Я думаю о Вас теперь как о человеке, стоящем в наших рядах, но выражаю надежду, что Вы продолжите Вашу богатую творческую жизнь и сможете вернуться когда-нибудь на вашу родину — но свободную родину.

19 февраля сего года я предложил в Сенате Соединённых Штатов резолюцию, обязывающую Президента Соединённых Штатов декларировать, что Вы являетесь почётным гражданином Соединённых Штатов Америки. Это высшая степень почёта, которым мы можем удостоить; в истории нашей страны так удостоены были только двое заслуженных иностранцев. Мы хотим таким образом выразить Вам нашу полную поддержку в Вашей борьбе за права человека на земле. Это чистый жест почёта, не обязывающий Вас ни в какой степени и не предпрещающий Вашего статута. К настоящему моменту уже двадцать четыре сенатора выразили согласие поддержать меня в этой резолюции, и, я надеюсь, другие присоединятся вскоре.

Господин Солженицын, мы очень рады видеть Вас здесь с нами на Западе. Вы — гражданин всего мира. Я знаю, что вскоре Вы себя почувствуете как дома в любой стране земного шара, где миллионы людей читали Ваши прекрасные произведения, знают и уважают Вас не только как великого писателя, но — как символ свободы.

Вы сделали бы нам большую честь посещением нашей страны и встречей с сенаторами, поддерживающими мою резолюцию. С этой целью я приглашаю Вас в гости сначала в мой штат, Северную Каролину, где Вы могли бы отдохнуть несколько дней на частной вилле в горах, с тем чтобы потом посетить Вашингтон для встречи с сенаторами. В границах Соединённых Штатов проживает около двух

миллионов Ваших соотечественников. Таким образом, мы — самая большая русская страна вне России и потому Вам очень подобает посетить нас.

Жду скорого ответа и надеюсь встретиться с Вами лично. Желаю Вам счастья и полного успеха в этой новой фазе Вашей жизни.

Да хранит Вас Господь Бог!

Искренне Ваш

Джесси Хелмс.

[4]

А. СОЛЖЕНИЦЫН — СЕНАТОРУ Дж. ХЕЛМСУ

5 марта 1974

Высокоуважаемый господин Джесси Хелмс!

Я глубоко тронут Вашими действиями, Вашим предложением Сенату и Палате Представителей Соединённых Штатов декларировать присвоение мне почётно-го гражданства Вашей страны, не упуская в аргументации, что моя судьба не есть частная судьба, но остаётся навек связанной с судьбами моей родины.

Разумеется, это — высокая честь для меня и немалая поддержка в моём положении изгнанника с родины, в той не добровольно избранной борьбе, которую много лет приходится мне, выходя за пределы художественной литературы, вести за права человека, его внутреннее достоинство, его трезвое осознание грозящих нам всем опасностей.

В своей сенатской речи 19 февраля (и повторно в письме ко мне от 1 марта) Вы называете меня «гражданином мира». Это — тем более обязывающее звание, которого я ещё никак не заслужил, ибо жизненный опыт не дал мне возможности вместить задачи и нужды всего мира. Однако то здесь правда, что нынешнее тесно-связанное состояние мира не может не вести к появлению подобного уровня сознания и обязанностей — и, очевидно, будет распространяться в XX и XXI веке.

И лишь Ваше гостеприимное приглашение посетить сейчас Соединённые Штаты и лично Ваш дом, встретиться с представителями американской общественности — я, к сожалению, не смогу принять в обозримое время: именно сейчас, в непривычных новых условиях, я должен с особым усердием и вниманием сосредоточиться на моей основной литературной работе, на моём главном литературном замысле, которому может не хватить целой жизни, — и поэтому никакие вообще поездки и никакая энергичная общественная деятельность невозможны сейчас для меня.

С благодарностью и добрыми пожеланиями,

искренне Ваш

А. Солженицын.

[5]

ДЖОРДЖ МИНИ — А. СОЛЖЕНИЦЫНУ

25 февраля 1974

Дорогой господин Солженицын,

Вместе со всеми свободными людьми повсюду, американское профсоюзное движение с глубоким волнением и восхищением следило за Вашей мужественной борьбой за интеллектуальную и человеческую свободу, проходившую в условиях страшного неравенства сил.

Мы глубоко отдаём себе отчёт в том, что силы, которые хотели бы задушить Ваш красноречивый голос несогласия, во всю историю человечества направлены были против усилий обыкновенных людей. Вопреки им люди пытались организовать и охранить независимые профсоюзы, которые отвечали бы их нуждам, а не директивам государства. Мы были свидетелями Ваших испытаний, которые —

дело рук именно этих сил, и это мощно напомнило нам слова из Вашей Нобелевской лекции:

«Внутренних дел вообще не осталось на нашей тесной Земле. И спасение человечества только в том, чтобы всем было дело до всего».

Действуя именно в этом духе, более чем четверть века тому назад Американская Федерация Труда документально доказала существование лагерей принудительного труда в Советском Союзе и опубликовала карту сети ГУЛАГа: темы Вашего новейшего произведения. Кроме того, по настоянию именно американского профсоюзного движения, Экономический и Социальный Совет Объединённых Наций установил особый Комитет по вопросу принудительного труда, отчёты которого подтвердили размеры и ужас этой страшной системы деградации человека.

Так как действительно не остаётся внутренних дел на нашей перенаселённой земле, я хочу сделать Вам, от имени американского профсоюзного движения, сердечное приглашение приехать в Соединённые Штаты в качестве нашего гостя.

Мы готовы устроить для Вас поездку так, чтобы Вы могли широко путешествовать по нашей разнообразной стране, и мы готовы устроить для Вас встречи и лекции, чтобы у Вас была возможность, в меру Вашего желанья, свободно общаться с американским народом.

Я уверен, что выражаю искренние чувства наших членов и американского народа вообще, высказывая надежду, что Вы найдёте возможным принять наше приглашение.

Джордж Мини
Президент АФТ — КПП.

[6]

А. СОЛЖЕНИЦЫН — ДЖОРДЖУ МИНИ

5 марта 1974

Дорогой господин Джордж Мини!

Прежде всего разрешите выразить Вам моё глубокое уважение. Как это виделось и слышалось мне многие годы из Советского Союза, Вы всегда выделялись как один из самых дальновидных, трезвых и твёрдых деятелей Соединённых Штатов. С тем большей признательностью я прочёл Ваше имя под приглашением, присланным мне от Американской Федерации Труда, посетить Соединённые Штаты для дискуссий и лекций.

И вот признак, насколько велико разъединение и неосведомлённость в мире: я столько лет занимался проблемами советских лагерей принудительного труда — и понятия не имел о благородной поддержке наших страдающих со стороны Американской Федерации Труда, об издании Вами карты ГУЛАГа (я пытался самодельно мастерить её)!

Как я рад, что Вы разделяете это несомненное положение, что не осталось нигде в нашем тесно-связанном мире никаких «внутренних дел», коль скоро они не мелкого масштаба и значения. Но сколько внимания, терпения и основательности, нелегкомыслия потребуется ото всех нас, чтобы безошибочно вникнуть в суть того, что ещё вчера казалось чужими «внутренними делами»!

Именно в этом плане Ваше приглашение имеет глубокий смысл. Однако, увы, есть ещё и ограниченность индивидуальных возможностей, которую я сейчас и испытываю: принудительно вырванный из родной почвы, я вынужден потратить теперь немало духовных и физических усилий, чтобы на новом месте восстановить и наладить свою работу на прежнем уровне и в прежнем темпе. И я никак не имею права покинуть свою литературную деятельность для политической или даже публицистической, ибо считаю художественное исследование более доказательным, чем публицистическое. Если я и высказываюсь иногда публицистически, то только по крайней необходимости и лишь по самым жизненным вопросам моей родной страны. Её неосвещённая история понуждает меня не покидать моего главного литературного замысла.

Вот почему, вместе с большой благодарностью, я вынужден отказаться на обозримое время от Вашего дружеского приглашения.

С лучшими пожеланиями,

искренне Ваш

А. Солженицын.

[7]

СЕНАТОР Дж. ХЕЛМС — А. СОЛЖЕНИЦЫНУ

15 марта 1974

Дорогой господин Солженицын,

Ваше прекрасное письмо от 5 марта было тепло принято Вашими многочисленными друзьями в Сенате США. Оно действительно представляет собой свидетельство того нового уровня понимания и ответственности, который сейчас начал выходить на поверхность и о котором Вы упоминаете. Тем, что Вы пишете историю в категориях человеческих страданий, Вы заставляете многих людей переоценить непродуманную политику наших мировых правителей.

Поэтому я и назвал Вас «гражданином мира». До сих пор Вы останавливали Ваше внимание на положении у Вас на родине. Но недостаток понимания духовного и человеческого измерений — это симметричная проблема в обеих наших странах. Лидеры Востока и лидеры Запада действуют рука об руку для того, чтобы опрокинуть вехи западной цивилизации и самобытных национальных традиций. Вот почему уместно, чтобы Вы протянули руку и объединились с теми из нас, кто старается оживить коренные традиции, до сих пор нас поддерживающие.

С тех пор как я писал Вам последний раз, Ваше сентябрьское письмо вождям Советского Союза стало нам доступно по-английски. Оно подверглось широкой критике за отсутствие реализма людьми с поверхностным мышлением. Но я понимаю, что Вы писали его в контексте попытки убедить советское руководство, что для них нет опасности в ослаблении железной хватки власти. Кроме того, Вы поступаете мудро, ища в Ваших исконных традициях мирный переход к свободе и строя эту свободу на освобождающем опыте христианства.

Хотя уравнивать эти два опыта было бы передёргиванием, всё же я хочу сказать, что сам я исхожу из культурной традиции, которая прошла через горнило страдания, смерти и лишений, и поэтому располагает тем сочувствием, которое необходимо, чтобы правильно оценить мучительную историю России. Я имею в виду людей Юга, южные штаты, которые около ста лет тому назад потерпели уничтожение цвета своей молодёжи в одной из самых кровавых войн, которые когда-либо были в истории человечества. Однако связь людей, претерпевших общие лишения, — лишения, след которых лишь сейчас исчезает, — создала духовное единство, которое и поныне удивляет наших сограждан из других областей.

Обо всём этом я упоминаю потому, что пригласил Вас приехать в Северную Каролину не только по причинам светского характера. Я надеялся, что, познакомившись с моими соотечественниками, Вы почувствовали бы единство целей с ними. Ведь Юг и поныне остаётся по настроениям и характеру земледельческим, там сильны семейные связи и историческая преемственность от одного поколения к другому. Но главное — южане остаются христианами, которые воспринимают как оскорбление безрассудное вырождение современной цивилизации. В таких вот традициях и надо искать нравственные ресурсы, необходимые для духовного пробуждения, которое всех нас может спасти.

Не может быть мира в мире до тех пор, пока руководящие принципы Вашей и нашей стран не вернуться к своей исконной традиции. Только тогда можно будет разоружиться и обратить всё внимание на развитие национального наследия наших стран. Никакое международное соглашение не может дать безопасности, если оно построено на непризнании прав и обязанностей человечества. Поэтому я счи-

таю, что лидеры моей страны совершают серьёзную ошибку, заключая технические соглашения с Советским Союзом безо всякого основного соглашения о правах человека.

Труд Вашей жизни обратил внимание Западного мира на эти проблемы; Вы стали живым символом, и поэтому одно Ваше имя привлекает внимание всех желающих стать лидерами. Я рад сообщить Вам, что Резолюцию 188 Сената США поддерживали уже 37 сенаторов, и число поддерживающих ежедневно растёт. Когда их станет больше пятидесяти (полпути), настанет пора действовать, хотя и тогда будут люди, которые будут сопротивляться признанию нашей общей точки зрения. Но значение этой акции не только в том, что ею отдаётся честь Вашим великим заслугам, а и в том, что таким образом возникает широкая коалиция, объединяющая различные течения политического мышления.

...Я сожалею, что Вы не можете приехать, но понимаю причины, заставляющие Вас остаться. Ещё раз я возобновляю приглашение Вам посетить нас, когда время Вам это позволит.

Джессу Хелмс.

[8]

А. СОЛЖЕНИЦЫН — СЕНАТОРУ Дж. ХЕЛМСУ

22 марта 1974

Многоуважаемый господин Джессу Хелмс!

Я с большим интересом прочёл Ваше письмо. Оно напомнило мне о той упрощённой неодносторонней Америке со множественностью традиций и тенденций, которые мы издали по слабости человеческого зрения и слуха чаще всего упускаем, воспринимая вашу страну в формулировках примитивных, заимствованных быть может всего лишь от нескольких ваших и наших журналистов. И я сокрушаюсь, что ограниченность времени и сил ещё долго будет мешать мне лично хорошо представить сложность, объём и фактическое состояние ваших проблем.

Но соответственно так же трудно и американцам понять суть проблем, как они стоят в нашей стране, и те пути будущего, которые перед нами развёртываются. Примером может послужить хотя бы программа, изложенная мной в «Письме вождям Советского Союза», которое Вы упоминаете как понятое у вас неверно. Да, это удивительно: «Письмо» ещё, кажется, и не напечатано в Вашей стране, но уже подверглось поверхностному ложному истолкованию. Эта программа, истекающая из того общего положения, что целые нации, как и отдельные люди, могут достичь своих высших духовных результатов лишь ценой добровольного самоограничения во внешней области и пристального сосредоточения на развитии *внутреннем*, программа, предлагающая поэтому моей стране односторонне отказаться от всех внешних завоеваний, от насилия над всеми соседствующими нациями, от всех мировых претензий, от всякого мирового соперничества и в частности — от гонки вооружений, по масштабам и решительности отказа далеко превосходя то, что сегодня мечтается как умеренная обоюдная «разрядка напряжённости», — эта программа пристрастно истолкована комментаторами как *национализм* — то есть воинствующая противоположность её!

Такая грубизна современной ежедневной прессы, такая журналистская поспешность дать минутную оценку тому, что зреет десятилетиями, ещё более осложняет вам и нам взаимное честное понимание из такой дали и из таких разных условий.

Мне кажется весьма тревожным нынешнее состояние и направление развития обеих наших стран. Во всяком случае моя страна, что плохо видно со стороны, при всём своём внешнем физическом могуществе, стоит перед дилеммой либо физической и (ещё ранее того) духовной катастрофы, либо нравственного бескровного ненасильственного преобразования. Я и мои единомышленники на родине, откуда я временно удалён, но удалён фиктивно, — мы пришли к убеждению, что не физическим сотрясением власти можно открыть путь в человеческое будущее: вот чело-

вечество прожило целую эру победоносных физических революций — и подошло к хаосу и гибели. И если суждены нам и вам впереди революции не губительные, но спасительные, то они должны быть *революциями нравственными*, то есть неким новым феноменом, который мы ещё не способны никто провидеть в чётких и ясных формах. Но будем надеяться, что человечество найдёт эти формы, тоньше и выше прежних грубых, и сумеет использовать их ко благу, а не к новой крови.

С самыми добрыми пожеланиями,

А. Солженицын.

[9]

СЕНАТОР ДЖЕКсон — А. СОЛЖЕНИЦЫНУ

22 февраля 1974

Дорогой Александр Исаевич,

Я хорошо могу себе представить Ваши мысли и переживания после всего, что пришлось Вам испытать в эти дни; после многих лет поношений — арест, угроза суда «за измену», жестокая игра скрывания от Вас Вашего изгнания, а затем, на Западе, вмешательство прессы в Вашу личную жизнь. Я знаю, как ужасно должно быть для Вас изгнание с родины, но позвольте мне тем не менее сказать Вам «добро пожаловать» в этот мир, который — несмотря на все его недостатки — всё же остаётся свободным миром. Вы сможете продолжать здесь Вашу литературную работу, выражая Ваше искусство и Ваши мысли без непрерывного преследования от машины репрессии. Для художника лишение родной почвы — ужасное наказание, но некоторые из самых великих произведений литературы написаны были писателями, жившими за границей: Овидий, Данте, Мицкевич, Тургенев, Манн и Бунин — чтобы ограничиться только крупнейшими. Все мы считаем, что Вы достаточно сильны, чтобы устоять в этом последнем по счёту испытании Вашей жизни после всех тех, которые Вы так ярко описали в Ваших книгах. Я очень надеюсь, что Вам и Вашей семье удастся пережить это испытание с минимальными затруднениями и горем.

Я уверен, Вы уже почувствовали, что за всей гласностью на Западе и неприятным аспектом некоторых журналистских выражений её стоит подлинное волнение, вызванное восхищением Вашим мужеством. Вы должны были это заметить в простых проявлениях симпатии со стороны чужих людей. Не падайте духом из-за агрессивного соревнования западных масс-медиа: это — подчас неприятное — явление, сопровождающее нашу свободу. Мы часто путаем суть с формой, и Ваше достижение в том, что вы заставляете нас понимать эту существеннейшую разницу. Ваша преданность свободе подействовала не только на всё лучшее, что есть у Вас на родине и в Восточной Европе, она также заставила ярче проявиться благородные движения за права человека, которые представляют собой лучшее, что можно найти на Западе. Все мы Вам обязаны.

Если бы по ходу Ваших путешествий Вы оказались в Вашингтоне, для меня было бы радостью и великой честью приветствовать Вас у себя дома. Мои дети приблизительно одного возраста с Вашим старшим сыном, и я всей душой молюсь, чтобы Ваша семья как можно скорее была с Вами. Мой дом небольшой, но находится в мирном и спокойном районе; мы бы сделали всё, чтобы Ваше пребывание у нас было как можно более приятным.

Если есть что-либо, в чём я могу Вам помочь, а также содействовать в более широком плане делу индивидуальной свободы, которое Вами так красноречиво выражено, пожалуйста, сообщите мне, что я могу сделать, и я приложу к этому все усилия.

С наилучшими пожеланиями,

Генри М. Джексон.

[10]

А. СОЛЖЕНИЦЫН — СЕНАТОРУ ДЖЕКСОНУ

7 апреля 1974

Дорогой господин Генри Джексон!

Удивительным и непонятым образом Ваше дружественное письмо ко мне от 22 февраля получено мною только *вчера*, 6 апреля!.. — и притом безо всякого почтового штемпеля. Каким путём оно шло, где задержалось — я так и не мог выяснить. Несколько же дней назад я послал Вам копию своего ответа двум подкомиссиям Палаты Представителей — и, я думаю, из сопроводительной записки Вам стало ясно, что в своё время я не пренебрег ответом, а просто не получил Вашего письма.

Вы обнадеживаете меня, что и в изгнании писатели не погибали, не прекращали своего труда, и я особо благодарю Вас за эти слова. Сам я тоже уверен в этом.

Ещё раз могу с благодарностью повторить, что мощная поддержка в сентябре прошлого года, оказанная нашему свободолюбию свободолюбием Соединённых Штатов (а в этом движении Вы играли столь ведущую роль), спасла многих из нас и даже изменила ход событий в нашей стране. И чем дальше, тем всё более будет важно сохранять и углублять взаимопонимание и сочувствие между общественными силами наших двух стран, оказавшихся (необлегчительно для себя) столь влиятельными для судеб всего мира. Тут будут неизбежны ошибки дальнего зрения: издали так трудно разглядеть суть проблем и пути развития — нам у вас, вам — у нас. Но мы всеми силами должны устранять искажения оценок, взглядов и намерений, которые могут быть между нами внесены по небрежности, по поспешности или злоумышленно. В документе, который я послал Вам 3 апреля, я касаюсь отчасти и этого вопроса.

Увы, не могу воспользоваться Вашим любезным приглашением, так как не имею возможности сейчас совершать далёкие поездки. Но Ваша готовность гостеприимства очень тронула меня.

Глубоко сочувствуя той неизменной принципиальности, которой Вы подчиняете решения повседневных вопросов,

с лучшими пожеланиями, жму руку

Ваш

А. Солженицын.

[11]

В ШВЕЙЦАРСКОЕ ТЕЛЕГРАФНОЕ АГЕНТСТВО

8 апреля 1974

За два месяца, что я на Западе, я засыпан лавиной писем из разных стран Европы, из Соединённых Штатов, Японии, Австралии, и лавина эта ещё усилилась после приезда моей семьи. Здесь — телеграммы, письма, пакеты и подарки людей одиночных, семейных пар, целых школьных классов, студенческих групп, университетских преподавателей и самих университетов, уже не говорю о письмах, предложениях и приглашениях многочисленных общественных организаций, международных и национальных. Однако даже если б я сейчас прекратил свою литературную работу и все другие занятия — я не успел бы ответить своим корреспондентам ранее, как за полгода. И поэтому я прибегаю к единственно возможному для меня ответу — через печать.

Всех писавших мне я благодарю сердечно и прошу понять и извинить меня за физическую невозможность ответить каждому. Этим широким дружелюбием, одобрением, поддержкой, тем более ощутимым в моём самом близком окружении в Цюрихе — ото всего города, от смежных кварталов, от детей соседней школы, я и моя семья взволнованы и растроганы самым глубоким образом.

Я не знаю, были ли изгнанники прежде меня, окружённые таким сочувственным теплом на чужбине, как будто это совсем не чужбина, а самая родная страна. Может быть, просвечивает здесь уже наступающее живое единство человечества. Я хотел бы правильно понять свою задачу и литературным делом отблагодарить своих бесчисленных новых друзей.

А. Солженицын.

[12]

ГОСБЕЗОПАСНОСТЬ НЕ УНИМАЕТСЯ*

Цюрих, 3 мая 1974

В 1972 году Госбезопасность затеяла переписку с руководителем «Русского Национального Объединения» Василием Ореховым, редактором журнала «Часовой» (Брюссель), — переписку от моего имени, то есть сочиняла письма к нему, подделывая мой почерк. Сперва с невинными просьбами прислать материалы и воспоминания о 1-й Мировой войне, потом и с приглашениями приехать самому или прислать представителя «для связи» в Прагу. Поначалу эти фальшивые письма пересылались из Праги с обратным адресом известного писателя и психиатра Йозефа Несвадбы, затем — на конвертах появилось подставное лицо Отакар Горский, с «домашним» адресом на учреждение (Прага, ул. Революции, 1, где помещаются Чехословацкие аэролинии и туристические конторы), а телефоном — из того района (ул. Подкаштани и Маяковского), где расположены советское посольство и чешское ГБ. Как далеко зашла бы эта провокация, если бы меня не выслали, — не знаю. Вероятно, хотели арестовать в Праге приехавшего русского эмигранта и затем вокруг него сплести для уголовного суда мои «связи» с эмигрантскими организациями. (Связи с Зарубеьем — любимый конёк советской пропаганды.)

Именно потому, что этот случай строится на графической подделке моих писем и такой приём может повторяться в будущем, я и прошу «Тайм» оповестить о нём читателей, сопроводив фотоиллюстрациями.

Подделка КГБ (слева) и моя подлинная подпись.

Разумеется, в распоряжении ГБ было много образцов моего почерка и моих подписей, все подцензурные письма, в том числе и постоянный обратный адрес, который они и воспроизвели в точности:

*Москва, К-9
ул. Горького 12 кв. 169 Солженицын А.И.*

*Москва, К-9
ул. Горького 12 кв. 169 Солженицын А.И.*

Подделка (наверху) и подлинная рука (внизу).

* Опубликовано в журнале «Таймс», 27 мая 1974.

Сам почерк не то чтоб очень хорошо удался их графологам, но что-то схвачено, похожесть есть, и она обманывает.

*переправил письмо мне. Так вот
и воровки, более успешно, да, по
какой, надежде.*

*то за два года я не имел бы возможности воз-
разить Вам публично в случае Вашей неадекватности
или неадекватности.*

Подделка (наверху) и подлинная рука (внизу).

Любопытно, что жулики из ГБ подделывали не только почерк, но и — из разных других моих писем, прошедших их цензуру, — вылавливали отдельные мои выражения, фразы, синтагмы и вставляли их в свою подделку.

Вполне можно ожидать, что все эти приёмы уже и в других случаях применялись против меня, и ещё будут применяться советской пропагандой в её нынешней кампании подделать моё прошлое и дискредитировать меня.

Хотя после моей высылки объявлено, что я вообще *перестал существовать*, Госбезопасность ничуть не ослабила действий против меня и моих друзей. Бессильные уничтожить меня самого, в день моей высылки устроили себе ведьмовский праздник — ритуальное сожжение моей одежды, в которой я был арестован (меня выслали во всём кагебистском). На другой день издали (Управление по Охране Государственных Тайн и Печати) приказ сжигать из всех библиотек мои немногочисленные сохранившиеся издания и даже целиком те номера журнала «Новый мир», где печатались мои рассказы. Со дня же высылки начались обыски у моих знакомых — в Рязани (Наталья Радугина, на обыск пришло 14 гебистов!) и в других городах, у кого рассчитывали найти или самиздатские мои издания, или что-либо написанное моей рукой, — и всё это тоже отбиралось. У Неонилы Снесарёвой (Москва) вместо обыска инсценировали «воровской налёт» (любимый маскарад гебистов), изъяли всё относящееся ко мне и оставили о том издевательскую записку. Начата систематическая расправа с лицами, подозреваемыми в дружбе или хотя бы в знакомстве со мной (недавний случай: профессора Ефима Эткинды в Ленинграде в один день выбросили из института, из Союза писателей и отняли профессорское звание).

Уже и в Цюрихе провокаторы КГБ (советские граждане, и этого не скрывают) звонят мне и непрошенно навешают. Те угрозы целости моих детей, которые год назад в СССР подавались как анонимные письма мифических советских «гангстеров», прошлой зимой — «советских патриотов», — теперь повторяются этими посетителями, но уже как «сочувственное предупреждение» против гангстеров западных. Мой жизненный опыт достаточно мне прояснил, что все «гангстеры» моей жизни, и прошлые и будущие, — из одного и того же учреждения.

[13]

В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТ «НАША СТРАНА» И «JERUSALEM POST»

30 августа 1974

Для того, чтобы «Архипелаг ГУЛАГ» могли беспрепятственно читать самые широкие круги и не было бы затруднений приобрести его, я установил для всех издательств, что продажная цена книги не должна быть обычной для книг такого объёма, но в 2, 3 и даже 4 раза дешевле. При этом все гонорары автора идут на общественные цели.

Эти условия большинством издательств выполнены. Издательству «Харпер энд Роу» в США удалось установить цену даже ниже 2 долларов. Однако книготорговцы-перекупщики в некоторых странах сводят на нет этот замысел, спешат нажиться на необычно низкой цене, *добрав* разницу в свой карман. Сейчас мне пишут из Израиля, что Ваши книготорговцы продают два тома русского издания «Архипелага» за 25 долларов (тогда как маломощное издательство «ИМКА-пресс» продало им по 5-6 долларов за том)!

Я хочу публично заявить, что такая бессовестная спекуляция на этой книге оскорбляет самую память погибших, она есть попытка нажиться на крови и страданиях их. Я призываю израильских читателей подвергнуть этих книготорговцев моральному осуждению и общественными методами заставить их отказаться от постыдной наживы.

А. Солженицын.

[14]

ГЛАВНОМУ РЕДАКТОРУ ЖУРНАЛА «ШПИГЕЛЬ»

6 ноября 1974

Господин Аугштайн!

В Вашем приватном возбуждённом ответе (1.11.74) на публичное опровержение моего адвоката (29.10.74) Вы *подменяете* дерзкие выражения Вашего журнала (28.10.74) на другие, более удобные к защите.

Обсуждения (Erwägungen) возможного трибунала по материалам 50-летних злодейств Архипелага носят интернациональный характер и начались с «Московского Обращения» 13 февраля 1974 года. Они могут много помочь прояснению западного сознания. Но не об *обсуждениях* пишет Ваш журнал, лживо приписывая мне:

- 1) что я *планирую* создание такого Трибунала, из «ярких противников режима», и это — моя самобытная (ursprünglich) идея;
- 2) что такой Трибунал был бы направлен *против моей родины* (то есть, по аналогии, Нюрнберг — процесс против Германии, так?);
- 3) что от этого всего меня отговорила моя жена;
- 4) что я «не хочу удовлетворяться только писанием книг», но «обдумываю, как бы прямо делать политику».

Предлагаю Вам публично отказаться от Вашей клеветы и напечатать это моё письмо. Это будет благоразумнее для Вас, чем защищать четыре указанных пункта в суде.

А. Солженицын.

[15]

ОТВЕТ НА ВОПРОС ГАЗЕТЫ «КОРРЬЕРА ДЕЛЛА СЕРА»

(Корреспондент — Гвидо Тонелла)

21 февраля 1975

Речь идёт о подготовленной КГБ публикации с использованием полученных от моей бывшей жены моих личных писем. Публикаторы имеют возможность создать любую тенденциозную подборку, нежелательные им письма утаить, другие монтировать, эта техника их по отношению ко мне уже была применена.

Я до сих пор полагал, что по общечеловеческому закону никакие частные письма никакого человека вообще не могут публиковаться при его жизни без его согласия. Если итальянский закон, как это выяснилось из решения судьи, г-на Де Фалько, допускает публикацию столь низкого рода — такой закон вызывает презрение, и я не считал бы возможным апеллировать к нему.

А. Солженицын.

[16]

ПИСЬМО В. В. НАБОКОВУ

16 мая 1972

Высокоуважаемый Владимир Владимирович!

Посылаю Вам копию своего письма в Шведскую Академию с надеждой, что оно не будет безрезультатно. Давно считаю несправедливостью, что Вам до сих пор не присуждена Нобелевская премия. (Эту копию посылаю Вам, однако, лишь для личного сведения: по особенности моего и Вашего положения публикация этих писем могла бы принести лишь вред начинанию.)

Пользуюсь случаем выразить Вам и своё восхищение огромностью и тонкостью Вашего таланта, несравненного даже по масштабам русской литературы, и своё глубокое огорчение, даже укоризну, что этот великий талант Вы не поставили на служение нашей горькой несчастной судьбе, нашей затемнённой и исковерканной истории. А может быть, Вы ещё найдёте в себе и склонность к этому, и силы, и время? От души хочу Вам этого пожелать. Простите, но: переходя в английскую литературу, Вы совершили языковой подвиг, однако это не был самый трудный из путей, которые лежали перед Вами в 30-е годы.

Совсем недавно я был в Ленинграде и зашёл в оригинальный вестибюль Вашего милого дома по Большой Морской, 47 — главным образом, правда, с воспоминанием о роковом земском совещании 8 ноября 1904 года на квартире Вашего отца.

Желаю Вам ещё долгой творческой жизни!

А. Солженицын.

(Публикация глав будет продолжена.)

